

# Черная башня

**Автор:**

Филлис Дороти Джеймс

Черная башня

Филлис Дороти Джеймс

Адам Дэлглиш #5

Смерть провинциального священника Брэдли выглядит вполне естественно... но опытный детектив Адам Дэлглиш подозревает, что это?– убийство. Однако кому и зачем понадобилось лишать жизни пожилого человека? Вскоре Дэлглиш приходит к шокирующему выводу: убийство его друга?– лишь звено в цепи загадочных смертей, к которым причастен безжалостный убийца...

Филлис Дороти Джеймс

Черная башня

P.D. James

THE BLACK TOWER

© P.D. James, 1975

Школа перевода В. Баканова, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

## Глава первая. Приговорен к жизни

I

Это был последний визит великого светила, и Дэлглиш подозревал, что ни один из них – ни врач, ни пациент – об этом не сожалел. Высокомерие и снисходительность с одной стороны и слабость, признательность и зависимость с другой никак не могут, пусть даже и на краткий срок, стать основой взаимоотношений между взрослыми людьми.

Доктор торжественно вступил в крошечную больничную палату: впереди – медсестра, сзади – свита ассистентов и студентов-медиков, а сам он уже одет к модной свадьбе, которую намеревался почтить своим присутствием чуть позже. Врач как две капли воды походил на жениха, только вместо традиционной гвоздики у него в петлице красовалась алая роза. И цветок, и его обладатель буквально лучились искусственным, невероятным, немыслимым совершенством – словно завернутые в подарочную фольгу, неподвластные случайным ветрам, морозам и неделикатным пальцам, которые, чего доброго, загубили бы совершенство более незащищенное. В качестве последнего, завершающего штриха и врач, и цветок в петлице были чуть сбрызнуты одинаковым (и, судя по всему, очень дорогим) лосьоном после бритья. Дэлглиш различал этот сильный и утонченный аромат даже сквозь больничные запахи эфира и вареной капусты, к которым за последние несколько недель настолько привык, что теперь фактически их не замечал. Студенты с ассистентами столпились вокруг койки. Длинноволосые, в коротких белых халатах, они походили на стайку чуть подгулявших подружек невесты.

Умелые и безразличные руки сестры проворно раздели Дэлглиша для очередного обследования. По груди и спине скользнул холодный диск стетоскопа. Нынешний, последний, осмотр был чистой формальностью, однако врач, как всегда, провел его с тщательностью – он никогда не позволял себе небрежности. И если в данном случае все же ошибся в первоначальном диагнозе, то это никоим образом не уронило его самооценки. Необходимости извиняться доктор не ощущал – ну разве что чисто формально.

Закончив прослушивание, он выпрямился.

– Мы получили результаты последних анализов и, думаю, теперь можем не сомневаться, что истолковали их правильно. Цитология, конечно, всегда дело темное, да к тому же постановка диагноза осложнилась из-за пневмонии. Но у вас не острая лейкемия, у вас вообще не лейкемия. Болезнь, от которой вы сейчас, к счастью, выздоравливаете, оказалась атипичным мононуклеозом. Поздравляю вас, командер. Заставили вы нас поволноваться.

– Я показался вам интересным пациентом, а вот вы меня как раз заставили поволноваться. Когда меня выпишут?

Великий человек засмеялся и улыбнулся свите, приглашая остальных столь же благодушно, как и он, отнестись к еще одному примеру неблагодарности выздоравливающих. Дэлглиш быстро добавил:

– Полагаю, вам нужны койки.

– Нам всегда требуется больше коек, чем у нас есть. Но не стоит спешить. До полного выздоровления еще очень и очень далеко. Так что посмотрим.

Когда все ушли, Дэлглиш лег на спину, блуждая взглядом по двум кубическим футам палаты, будто видел ее впервые. Раковина для умывания с локтевым краном; аккуратная и очень функциональная тумбочка у кровати, на ней – закупоренный графин с водой; два виниловых кресла для посетителей; наушники в изголовье; на окне занавески с гнусным узором в цветочек – настоящий символ безвкусицы. Вся эта скучная больничная обстановка была последним, что ожидал Дэлглиш лицезреть в жизни. Жалкое, безликое место, только и годное, чтобы здесь умереть. Совсем как номер в гостинице: все здесь предназначено для постоянной смены жильцов. Как бы ни покидали здешние постояльцы эту палату – на своих двоих или под простыней на каталке морга, – после них не оставалось ровным счетом ничего, даже памяти об их страхах, страданиях и надеждах.

Смертный приговор – надо полагать, как все подобные приговоры – был вынесен посредством озабоченных взглядов, явственно-фальшивой сердечности, перешептываний приглашенных консультантов, обилия анализов и нежелания до последнего, пока Дэлглиш не потребовал прямого ответа, обсуждать

диагнозы и прогнозы. Приговор к жизни, изложенный куда менее изощренным способом, когда худшие дни болезни уже миновали, явился для больного чуть ли не оскорблением. Дэлглишу казалось: со стороны врачей крайне неосмотрительно, чтобы не сказать халатно, с такой тщательностью обречь его на смерть, а потом вдруг взять да передумать. Теперь он со стыдом и неловкостью вспоминал, как легко, почти без сожалений, отказался от былых радостей и занятий. Глобальность предстоящей утраты показала их истинный масштаб: в лучшем случае – просто развлечение, в худшем – напрасная трата времени и сил. Теперь приходилось снова браться за них, снова заставляя себя поверить, будто они имеют какой-то смысл и значимость хотя бы для него самого. Дэлглиш сомневался, что сумеет поверить в их значение для других людей. Хотя, конечно, когда вернутся силы, все встанет на места. Только дайте срок, физическая жизнь заявит о своих правах. Он примирится с жизнью – ведь альтернативы-то нет, а нынешний приступ омерзения и безнадежной апатии – которые так удобно списать на банальную слабость – перейдет в убеждение, что ему крупно повезло. Коллеги, избавленные от неловкости, бросят его поздравлять. Теперь, когда смерть подменила собой секс в качестве табуированной темы для разговоров, она обрела и некую собственную стыдливость; умереть раньше, чем ты превратишься в обузу, прежде, чем твои друзья смогут с чистой совестью изречь ритуальное «отмучился», – дурной тон.

Но сейчас Дэлглиш не был уверен, что сможет снова вернуться к работе. Успев свыкнуться с ролью простого зрителя – а в недалекой перспективе и того меньше, – он чувствовал, что не готов выйти на шумную игровую площадку мира. Или если уж придется выходить, то сделать это нужно в наименее шумном местечке. За время, прошедшее после оглашения вердикта, он не успел обдумать эту мысль глубоко и тщательно – да и времени-то прошло совсем мало. Она возникла скорее на уровне ощущений, а не сознательного решения. Настал момент сменить курс. Судебные уставы, трупное окоченение, дознания и допросы, созерцание изувеченной плоти и переломанных костей, все, из чего состоит охота на людей, – с этим он покончил. На свете полно и других занятий. Дэлглиш, правда, еще не знал точно, каких именно, однако не сомневался: что-нибудь да подвернется. Впереди еще две недели отпуска – надо принять решение, обдумать его, оправдать в собственных глазах и, самое трудное, подобрать слова, чтобы обосновать подобный поступок в глазах комиссара. Сейчас неподходящее время, чтобы бросать Скотленд-Ярд; сослуживцы сочтут такой поступок дезертирством. С другой стороны, время никогда не бывает подходящим.

Он и сам не знал, объясняется ли разочарование в работе исключительно перенесенной болезнью, полезным напоминанием о неизбежной смерти или же это симптом недуга более фундаментального, свойственного «среднему возрасту», с его периодическими приступами хандры и неуверенности. В такой ситуации вдруг понимаешь, что надежды, отложенные «до лучших времен», уже не осуществляются, что порты, где ты бывал когда-то, никогда не увидишь вновь, а само твое путешествие – сплошная ошибка и доверять картам и компасам просто опасно.

Более того, прежняя работа теперь казалась Дэлглишу тривиальной, перестала его удовлетворять. Лежа без сна в унылой, безличной палате, как, должно быть, лежало немало пациентов до него, и следя за светом фар проезжающих мимо машин, вслушиваясь в тайные, приглушенные звуки ночной жизни больницы, Дэлглиш мысленно подводил итоги жизни, и эти итоги не радовали. Скорбь по погибшей жене, в свое время такая искренняя, душераздирающая, превратилась в предлог, чтобы более не вкладывать в любовные отношения душу. Все его романы – в том числе и тот, который сейчас периодически отнимал малую толику его времени и чуть большую толику энергии, – были цивилизованными, малоэмоциональными, взаимовыгодными и необременительными. В этих романах по умолчанию подразумевалось, что если располагать своим временем Дэлглиш не совсем может, то уж сердце-то его свободно целиком и полностью. Подруги его все как одна являлись женщинами эмансипированными. У каждой были интересная работа и уютная квартира, каждая руководствовалась принципом «Довольствуйся тем, что можешь получить». И уж конечно, все они были освобождены от тех запутанных, затягивающих, разрушительных эмоций, что отягощали жизнь прочих женщин.

Порой Дэлглиш задумывался: а имеют ли, собственно, эти тщательно продуманные романы, участники которых, точно пара ластящихся кошек, стремились исключительно к удовольствию, хоть какое-то отношение к настоящей любви – с небрунными постелями и невытой посудой, пленками, тесной и теплой клаустрофобией семейной жизни и взаимными обязательствами? Перенесенная утрата, работа, стихи – все это он пускал в ход, чтобы оправдать свою самодостаточность. А еще его женщины покорно уступали Дэлглиша стихам – даже легче, чем покойной жене. Они ни в грош не ставили сантименты, зато питали непомерное почтение к искусству. А что было хуже – или, возможно, лучше, – так это то, что он ничего не мог изменить, даже если бы и захотел. И что все это уже не имело ровным счетом никакого значения. Ни малейшего. За последние пятнадцать лет он ни разу никого не обидел, никого не заставил страдать – во всяком случае, намеренно. И только

сейчас в голову ему пришло, что ничего более убийственного представить невозможно.

Что ж, если всего этого изменить нельзя, то работу поменять – запросто. Хотя прежде всего предстояло выполнить одно личное обязательство – то самое, от которого он, как ни извращенно это звучит, рад был бы увильнуть под предлогом смерти. Теперь убежать не удастся.

Приподнявшись на локте, Дэлглиш дотянулся до тумбочки, вытащил оттуда письмо отца Бэддли и первый раз прочел его по-настоящему внимательно и вдумчиво. Старику, верно, под восемьдесят – он давно немолод. Тридцать лет минуло с тех пор, как он приехал в норфолкскую деревушку младшим священником к отцу Дэлглиша – робкий, бестолковый, вмешивающийся во все на свете, кроме самого важного, упрямый и абсолютно бескомпромиссный. Это письмо было третьим из тех, что Дэлглиш получил от Бэддли за тридцать лет. Датированное одиннадцатым сентября, оно гласило:

Дорогой Адам!

Понимаю, что ты, как всегда, очень занят, но мне бы очень хотелось, чтобы ты выкроил время и навестил меня, потому что я очень нуждаюсь в твоём профессиональном совете по одному вопросу. Дело не очень срочное, только вот сердце у меня что-то начинает изнашиваться быстрее всего прочего, так что уверенно думать о завтрашнем дне я не могу. Бываю здесь каждый день, но, наверное, выходные тебе подойдут больше. Должен тебя предупредить, что я теперь служу священником в Тойнтон-Грэйндж, частном приюте для молодых инвалидов, а живу, милостью директора, Уилфреда Энсти, в коттедже «Надежда», расположенном на территории лечебницы. Днём и вечером я обычно питаюсь в Грэйндж, но тебе, наверное, это будет неудобно, да и времени нам на общение тогда останется меньше, поэтому я воспользуюсь следующей же поездкой в Уорхэм, чтобы закупить провизию. У меня тут есть небольшая свободная комнатка, куда я смогу переехать, чтобы освободить для тебя спальню.

Не мог бы ты послать открытку, чтобы дать мне знать, когда приедешь? Машины у меня нет, но контора Уильяма Дикина по найму автомобилей и вызову такси расположена в пяти минутах ходьбы от станции (спроси на станции, тебе

покажут, куда идти) и весьма недорого и надежна. Автобусы от Уорхэма ходят редко, да и то лишь до деревни Тойнтон, а оттуда шагать еще полторы мили – очень приятная прогулка в хорошую погоду, но после такого долгого путешествия тебе, верно, не захочется идти пешком. На случай если ты все же решишь прогуляться, я нарисую карту на обороте письма.

Карта сбила бы с толку любого, кто привык ориентироваться по классическим публикациям в атласах, а не по картам начала семнадцатого века. Волнистые линии, судя по всему, символизировали море. Не хватало разве что кита с фонтанчиком над спиной. Автобусная остановка в Тойнтоне была обозначена достаточно четко, но далее дрожащая линия неуверенно петляла по пестрому разнообразию полей, ворот, пабов и зарослей треугольных зубчатых елочек. Время от времени, когда отец Бэддли понимал, что, образно выражаясь, сбился с пути, линия возвращалась вспять. Крохотный фаллический символ на побережье, выделенный в качестве ориентира, хотя вообще-то нужная тропинка туда и близко не подходила, был подписан как «черная башня».

Карта растрогала Дэлглиша почти так же, как трогает снисходительного отца первый рисунок ненаглядного дитя. И до каких же глубин слабости и апатии должен был он докатиться, чтобы не внять этому жалостному зову! Порывшись в ящичке, Дэлглиш отыскал открытку и коротко написал, что прибудет на машине около полудня в понедельник, первого октября. Так у него будет еще уйма времени на то, чтобы выбраться из госпиталя и посидеть у себя на квартире, в Куините, первые несколько дней после выписки. Дэлглиш подписал открытку одними инициалами, наклеил марки и прислонил к графину с водой, чтобы не забыть попросить кого-нибудь из медсестер отправить ее с утра первым классом.

Осталось у него и еще одно небольшое обязательство, исполнить которое было потруднее. Правда, с этим, решил Дэлглиш, можно и подождать. Надо повидаться с Корделией Грэй – или хотя бы позвонить ей – и поблагодарить за цветы. Дэлглиш понятия не имел, откуда она узнала, что он болен, – разве что кто-то из друзей в полиции сказал. Руководящая должность в детективном агентстве Берни Прайда (если оно, конечно, еще не вылетело в трубу, как должно было давным-давно вылететь по всем законам справедливости и экономики), вероятно, подразумевала, что у Корделии есть пара-другая знакомых полисменов. Кроме того, Дэлглишу казалось, что о его болезни вроде бы упоминали какие-то вечерние газеты, комментируя недавние потери в высших эшелонах Ярда.

Этот маленький, тщательно подобранный и персонально составленный букетик, индивидуальный, как сама Корделия, вступал в очаровательный контраст с прочими передачами из оранжерейных роз, хризантем-переростков, похожих на метелки для пыли, неестественных первоцветов и гладиолусов, розовых пластмассовых цветов, заочневших на твердых стеблях и даже пахнущих анестетиками. Должно быть, Корделия недавно ездила в какой-нибудь сад за городом – Дэлглиш гадал, куда именно. Он даже задумался: а зарабатывает ли она своим трудом себе хотя бы на жизнь, однако немедленно прогнал глупую мысль. В букетик (Дэлглиш помнил как сейчас) входили серебряные диски лунника, три веточки зимнего вереска, четыре розочки – не изможденные тугие зимние бутоны, а пышные желто-оранжевые свертки, нежные, как первые цветы лета, а еще – тонкие побеги садовых хризантем, красно-оранжевые ягодки, а в центре – точно сверкающий драгоценный камень – яркий георгин. Весь букет окружали мелкие сероватые листочки, которые в детстве называли «кроличьими ушками». Вышло очень трогательно – юный, душещипательный поступок, более зрелая и умудренная женщина ни за что бы так не поступила. К букету прилагалась только коротенькая записка – мол, услышала, что ты болен, посылаю цветы, желаю скорейшего выздоровления. Надо бы встретиться с Корделией или хотя бы написать, поблагодарить лично. Того, что медсестра по его просьбе звонила в агентство, недостаточно.

Впрочем, с этим, как и с более фундаментальными решениями, можно и подождать. Сначала надо увидаться с отцом Бэддли. И не просто из чувства религиозного или даже сыновнего долга. Дэлглиш поймал себя на том, что, несмотря на вполне предвидимые затруднения и неловкость, которые сулила эта встреча, он с удовольствием предвкушает возможность снова встретиться со старым священником. Правда, командер не собирался позволить отцу Бэддли, пусть и ненамеренно, вернуть его к прежней работе. Если (в чем Дэлглиш глубоко сомневался) упоминаемая священником проблема действительно принадлежит к числу тех, что должна решать полиция, пусть ею занимается дорсетский констебль. И все же, пока нынешняя ранняя осень и дальше будет такой же солнечной, Дорсет – самое подходящее место для выздоравливающего.

Однако голый белый прямоугольник, прислоненный к графину с водой, казался до странности навязчивым. Взгляд Дэлглиша вновь и вновь возвращался к нему, точно к какому-то могущественному символу, письменно удостоверяющему вердикт: жить. Он обрадовался, когда в палату заглянула сдающая смену дежурная медсестра и унесла открытку.



## Глава вторая. Смерть священника

I

Через одиннадцать дней, все еще слабый и по-больничному бледный, зато преисполненный эйфории от свойственного выздоравливающим обманчивого ощущения здоровья, Дэлглиш с первыми лучами солнца покинул свою квартиру над Темзой в Куините и, сев в машину, выехал из Лондона на юго-запад. За два месяца до внезапной болезни он с болью и неохотой расстался со своим стареньким «купер-бристолем» и теперь сидел за рулем «дженсен-хилла», радуясь тому, что машина уже обкатана, а сам он в душе почти смирился с переменой. Символически начинать новую жизнь на совершенно новой машине было бы чересчур банально. С собой Дэлглиш прихватил всего один саквояж и кое-какие принадлежности для пикников, в том числе штопор в багажнике, а в карман сунул томик стихов Гарди «Возвращение на родину» и путеводитель Ньюмана и Ревзнера по Дорсету. Поездка задумывалась как классические каникулы выздоравливающего: знакомые книги; короткий визит к старому другу как предлог для всего путешествия в целом; возможность в любой день свернуть в любую сторону, в зависимости от того, что придет в голову, причем в краю одновременно и новом, и знакомом. У Дэлглиша был даже полезный стимул в виде проблемы, которую позарез требуется разрешить и которой можно хотя бы в собственных глазах оправдать безделье.

Последний раз оглядывая квартиру перед выходом, он смутился, поймав себя на том, что по привычке тянется за набором для осмотра места преступления. Коммандер не помнил, когда последний раз куда-нибудь ездил без него, даже в отпуск. Однако теперь оставить набор в квартире значило подтвердить решение, над которым предстояло хорошенько подумать ближайшую пару недель, но которое, как Дэлглиш в глубине сердца знал, уже принято.

В Винчестер он добрался к позднему завтраку, коим разжился в отеле в тени собора, а следующие два часа провел, заново открывая для себя этот город перед тем, как двинуться в Дорсет. Теперь Дэлглиш вдруг ощутил, что вовсе не стремится поскорее попасть в конечный пункт путешествия. Неторопливо, почти

бесцельно петляя по проселочным дорогам, он доехал до Блэндфорда, где купил бутылку вина, рогалики с маслом, сыр и фрукты себе на перекус, а также пару бутылок амонтильядо для отца Бэддли. Затем так же неторопливо командер повернул к юго-востоку, минуя винтербурнские деревушки, и далее – через Уорхэм к замку Корф.

Величественные камни, символы мужества, жестокости и предательства, часовыми стояли в ущелье на гребне Парбек-Хилл, где несли стражу уже тысячу лет. Вкушая свой одинокий завтрак, Дэлглиш заметил, что постоянно возвращается взглядом к зубчатым стенам из тесаных валунов, что темным силуэтом вырисовывались на фоне неба. Точно не желая проезжать в тени замка и ища предлог, чтобы хоть немного затянуть одиночество мирного и ненапряженного дня, он провел некоторое время в безуспешных попытках отыскать на каменистых склонах горечавку и лишь потом сел за руль, дабы преодолеть последние пять миль пути.

Деревня Тойнтон. Вереница домиков с верандами; волнистые крыши из серого камня поблескивают на солнце; не слишком-то живописный паб на окраине; меж домов проглядывает ничем не примечательная церквушка. Дорога, с обеих сторон огражденная невысокими каменными оградами, плавно шла в гору между молодыми елочками, и Дэлглиш начал узнавать приметы, указанные на схеме отца Бэддли. Скоро дорога разделится, одно узкое ответвление свернет на запад, огибая холмы, второе пойдет через ворота в Тойнтон-Грэйндж, а оттуда к морю. И вот перед ним появились тяжелые железные ворота, вделанные в стену из плоских, не скрепленных цементом камней. Стена была добрых три фута толщиной, камни искусно пригнаны друг к другу, сцеплены мхом и лишайником, увенчаны колышущимися травами. Они образовывали барьер столь же надежный и прочный, как мыс, из которого вырастали. По обеим сторонам от ворот висели деревянные доски с выведенными краской предупредительными надписями.

Левая гласила: «Надеемся, что вы проявите уважение к нашему уединению».

Правая звучала более строго. Буквы выцвели, зато написаны они были профессиональнее.

НЕ ВХОДИТЬ.

СУГУБО ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ.

ОПАСНЫЕ УТЕСЫ БЕЗ ДОСТУПА К ПЛЯЖУ.

ПРИПАРКОВАННЫЕ МАШИНЫ

И ФУРГОНЫ БУДУТ ЭВАКУИРОВАНЫ

Под этим объявлением висел большой почтовый ящик.

Дэлглишу пришло в голову, что любой водитель, не внявший сей тщательно выверенной смеси просьбы, предупреждения и угрозы, чуть позже сам призадумается: стоит ли подвергать рессоры машины такому риску? Сразу же за воротами дорога резко портилась, и контраст между относительной ровностью «до» и каменистыми ухабами «после» казался почти символическим. Ворота, хоть и не запертые на ключ, были снабжены тяжелым засовом замысловатой конструкции, манипуляции с которым давали незваному гостю время пожалеть о своей опрометчивости. Дэлглишу, еще слабому после болезни, потребовалось немало потрудиться, чтобы открыть створки. Наконец, проехав в ворота и закрыв их за собой, он почувствовал, что ввязался в сомнительное предприятие – сколь туманное, столь и неблагоприятное. Скорее всего проблема окажется не связанной с его профессиональными навыками, и лишь не знающий жизни старый священник (бедняга, вероятно, потихоньку выживает из ума) мог подумать, будто тут необходимо вмешательство полиции. Но по крайней мере сейчас у Дэлглиша была непосредственная цель. Коммандер, пусть и неохотно, возвращался в мир, где люди решают свои проблемы, работают, любят, ненавидят, рассчитывают на счастье и – поскольку работа, с которой он намерен уйти, все равно никуда не денется – убивают или становятся жертвами убийц.

Снова садясь в машину, он наткнулся взглядом на кустик каких-то неизвестных цветов. Бледные розовато-белые головки поднимались над мшистой подушкой на вершине стены и деликатно подрагивали на слабом ветру. Подойдя поближе, Дэлглиш остановился перед цветами, молча любясь их непритязательной красотой. Только теперь он уловил чистый, почти иллюзорный, привкус соли в воздухе. Теплый воздух ласково обвевал кожу. Дэлглиша внезапно охватило острое ощущение счастья, и он, как всегда в подобные редкие и мимолетные мгновения, поразился чисто физической природе этой радости. Она растекалась по венам, легонько пенилась и бурлила, словно пузырьки шампанского. Если

анализировать это ощущение, оно мгновенно исчезнет. Дэлглиш отчетливо понял, что это такое, – он получил первый со времени болезни явственный знак: жить хорошо!

Машина, слегка подпрыгивая на ухабах, двинулась по рискованной дороге. Через пару сотен ярдов она достигла гребня, за которым Дэлглиш ожидал увидеть расстилающуюся до самого горизонта, мерцающую на солнце синь Английского канала. Вместо этого командер вновь пережил памятное по многочисленным школьным каникулам разочарование, когда после очередного прилива ложной надежды за холмом все еще не было видно долгожданного моря. За гребнем оказалась неглубокая каменистая долинка, пересеченная множеством разбитых дорожек и троп, а справа виднелось то, в чем Дэлглиш безошибочно узнал Тойнтон-Грэйндж.

Квадратное массивное здание датировалось, должно быть, первой половиной восемнадцатого века. Однако владельцу не повезло с архитектором – дом вышел просто чудовищным пятном на добром имени георгианского стиля. Он был повернут от моря на северо-запад, нагло бросая вызов типичному и загадочному правилу хорошего тона в архитектуре, которое, насколько себе представлял Дэлглиш, гласило: дом на взморье обязан стоять лицом к воде. Над крыльцом тянулись два ряда окон: первый – с большими каменными арками, второй – гораздо менее парадный, да и сами окна в нем были куда меньше. Казалось, их с трудом втиснули под главную достопримечательность дома – огромный ионический фронтон, увенчанный статуей – неуклюжей и с такого расстояния неузнаваемой каменной глыбой. В центре зияло круглое окно – единственный глаз циклопа, блестящий на солнце. Это архитектурное излишество уродовало весь фасад, придавало ему вид хмурый и нескладный. Дэлглиш подумал, что такой фронтон можно было бы еще с грехом пополам уравновесить удлиненными нишами, но то ли архитектору не хватило фантазии, то ли владельцу – денег, однако ныне дом выглядел до смешного незаконченным. К тому же за этим угрожающим фронтоном не виднелось и следа жизни. Наверное, обитатели – если это слово подходило – жили на задней половине. Правда, было уже половина пятого – как Дэлглиш помнил по больничному укладу, самый мертвый час. Вероятно, все сейчас отдыхали.

Неподалеку виднелись три коттеджа: пара в сотне ярдов от Грэйндж, а третий чуть выше по склону. Со стороны моря вроде бы проглядывала четвертая крыша, но на таком расстоянии точно разобрать не удавалось – быть может, просто выступ скалы. Поскольку командер не знал, какой именно из них называется

«Надежда», он решил наведаться к двум ближайшим. Обдумывая, как лучше поступить, Дэлглиш выключил мотор и только теперь услышал море: негромкий ритмичный и неумолчный гул – один из самых ностальгических и навевающих воспоминания звуков.

Пока еще, судя по всему, чужака никто не заметил. Взморье молчало, даже птицы не пели. В безмолвии чудилось что-то странное, почти зловещее, и рассеять это впечатление не могло даже солнечное сияние чудесного дня.

Когда Дэлглиш подъехал к коттедгам, в окне не показалось лица, на крыльцо не вышла фигура в сутане. Коттеджи представляли собой старые одноэтажные постройки из известняка. На типичных для Дорсета тяжелых каменных крышах красовались яркие подушки изумрудного мха. Справа стояла «Надежда», слева – «Вера», названия были написаны относительно недавно. По всей видимости, третий коттедж, располагавшийся в отдалении, носил имя «Любовь», однако Дэлглиш сомневался, что к этой символике приложил руку сам отец Бэддли. Старого священника отличало полнейшее пренебрежение внешней стороной и деталями быта, которое как-то не увязывалось с ситцевыми занавесочками, привешенными над дверьми коттеджа «Вера» вазонами с фуксией, а также стоящими по бокам от крыльца двумя ярко-желтыми кадками, где росли цветы. У ворот расположились два бетонных грибочка, этакий ширпотреб. Грибки были настолько лукаво-деревенские, что становилось странно, почему на них нет гномиков. Коттедж «Надежда», напротив, выглядел до мрачности аскетично. Крепкая дубовая скамья под окном, где можно погреться на солнце, на крыльце – коллекция тростей для ходьбы и старый зонтик. Тускло-красные шторы из тяжелой и плотной ткани задернуты.

Никто не ответил на стук. Дэлглиш и не ждал ответа. Было совершенно очевидно: оба коттеджа пусты. Дверь была закрыта на простую задвижку. Чуть поколебавшись, Дэлглиш отворил ее и вошел в сумрак прихожей, пропитанной теплым книжным и слегка пыльным запахом, который мгновенно перенес его на тридцать лет назад. Дэлглиш раздернул занавески, впуская в помещение свет. Глаза выхватывали очертания знакомых предметов: посередине комнаты – круглый столик из красного дерева на одной ножке, покрытый слоем пыли; у стены – бюро с выдвигной крышкой; кресло-качалка с высокой спинкой и крылатыми ручками, такое старое, что из ветхой материи лезла набивка, а сиденье и вовсе протерлось до дерева. Неужели то самое кресло? Не может быть! Наверное, этот внезапный приступ воспоминаний – всего лишь ностальгический самообман. Но рядом находилась еще одна вещь, столь же

старая, сколь и знакомая. За дверь висел черный плащ отца Бэддли, а сверху – поношенный, потерявший форму берет.

Именно при виде этого плаща Дэлглишу впервые в голову пришла мысль, что в коттедже что-то не так. Странно, конечно, что хозяина не оказалось дома, но этому можно придумать множество объяснений. Например, открытка Дэлглиша не дошла по назначению, или отца Бэддли срочно вызвали в Грэйндж, или он отправился в лавку в Уорхэм и опоздал на обратный автобус. Возможно даже, он напрочь забыл, что ждет гостя. Но если он куда-то вышел, почему не надел плащ? Зимой ли, летом ли, а представить старого священника в другом одеянии было просто невозможно.

Тогда-то Дэлглиш и обратил внимание на то, что, должно быть, уже заметил, однако пропустил, – маленькую стопочку листов с изображением черного креста. Взяв с бюро один из них, командер поднес его к окну, словно надеясь при более ярком свете разглядеть, что ошибается. Разумеется, никакой ошибки не было. Он прочел:

МАЙКЛ ФРЭНСИС БЭДДЛИ,

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ.

РОДИЛСЯ 29 ОКТЯБРЯ 1896.

СКОНЧАЛСЯ 21 СЕНТЯБРЯ 1974.

ПОКОЙСЯ В МИРЕ.

ПОХОРОНЕН ПРИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИХАИЛА И ВСЕХ АНГЕЛОВ, ТОЙНТОН,  
ДОРСЕТ.

26 СЕНТЯБРЯ 1974.

Умер одиннадцать дней назад, похоронен – пять. Впрочем, и так было понятно, что отец Бэддли скончался совсем недавно – чем еще объяснить витающее над

коттеджем ощущение его присутствия? Будто он совсем рядом – позови только, и его рука ляжет на задвижку двери... Глядя на знакомый старый плащ с тяжелыми застежками – неужели старик и правда совсем не изменился за тридцать лет? – Дэлглиш ощутил прилив сожаления, даже горя, и сам удивился остроте своего чувства. Старик мертв. Должно быть, это естественная смерть – ведь его похоронили так быстро. Ни о смерти, ни о похоронах газеты не писали. И все же Бэддли что-то тяготило, а он скончался, так и не облегчив душу. Внезапно Дэлглишу стало крайне важно убедиться, что посланная им открытка дошла по назначению, что отец Бэддли умер, зная: его просьба о помощи не осталась без ответа.

Самым напрашивающимся местом для поисков было викторианское бюро, принадлежавшее еще матери отца Бэддли. Помнится, старый священник всегда запирает его на ключ. Майкла никоим образом нельзя было назвать скрытным, но любому священнику просто необходим хотя бы один ящик или шкафчик, куда не заглянут пытливые глаза уборщицы или не в меру любопытного прихожанина. Дэлглиш помнил, как отец Бэддли, бывало, рылся в глубоких карманах плаща, нашаривая маленький старинный ключик, для простоты обращения привязанный бечевкой к столь же старомодной бельевого прищепке. Должно быть, он все еще в кармане плаща.

С чувством, будто он обкрадывает мертвого, командер поочередно обшарил оба кармана. Ключа не оказалось. Тогда Дэлглиш снова подошел к бюро и попробовал выдвинуть крышку. Она поддалась без труда. Нагнувшись, он осмотрел замок, потом принес из машины фонарик и оглядел все заново. Так и есть, замок взломан. Довольно аккуратная работа, да и несложная: замок был практически декоративным, предназначенным уберегать от простого любопытства, а не от решительного и злонамеренного посягательства. Вор вставил стамеску или нож – да хоть лезвие перочинного ножика – в щель между столом и крышкой и сильно нажал. Повреждений осталось на диво мало, однако царапины и сам замок без всяких слов свидетельствовали о взломе.

Ладно, дело не в том, кто взломал. Возможно, сам отец Бэддли. Потеряй он ключ, найти такой же было бы негде, да и отыщешь разве в такой дыре хорошего слесаря? Конечно, странно было бы ожидать, что пожилой священник вдруг силой взломает крышку, но опять-таки: почему бы и нет? Или это сделали уже после смерти отца Бэддли? Не нашли ключ, а кому-нибудь в Грэйндж, возможно, требовалось хоть как-то открыть бюро. Там могли храниться необходимые документы или бумаги – страховка, имена друзей, которых надо

уведомить о кончине священника, завещание...

Дэлглиш решительно взял себя в руки – хватит строить догадки! – и разозлился, обнаружив, что всерьез раздумывает: не надеть ли перчатки перед тем, как осматриваться дальше?

Он наскоро проглядел содержимое ящичков стола. Там не оказалось ничего интересного. По всей видимости, отношения отца Бэддли с внешним миром были сведены к минимуму. Однако одна деталь мгновенно привлекла внимание Дэлглиша. Аккуратно сложенная стопка детских тетрадок форматом ин-кварто в светло-зеленых обложках. Он знал: это дневник отца Бэддли. Так, значит, они еще не исчезли из продажи, эти вездесущие бледно-зеленые тетрадки с таблицей умножения на задней обложке, такие же неотъемлемые принадлежности младших классов, как и запачканная чернилами линейка или ластик. Отец Бэддли всегда покупал себе такие для дневников: по одной на каждые три месяца. И теперь, когда старый черный плащ бесформенно висел у двери, источая характерный для одежд священнослужителей запах пыли, Дэлглиш вдруг живо вспомнил один давнишний разговор. Так живо, будто ему всего лишь десять, а отец Бэддли, еще не старый, но уже казавшийся вечным, сидит здесь же, за письменным столом.

– Отец, так, выходит, это самый обычный дневник? А вовсе не изложение вашей духовной жизни?

– Это и есть духовная жизнь: самые обычные вещи, которые делаешь день ото дня, час от часу.

Адам с присущим юности эгоизмом спросил:

– Тут все, что делаете вы сами? А обо мне ничего?

– Ничего. Только то, что делаю я. Не помнишь, в какое время сегодня началась встреча «Союза матерей»? На этой неделе они собирались у твоей матушки. Кажется, сегодня время чуть изменили.

– В два сорок пять вместо обычных трех часов, отец. Архидиакон хотел уйти чуть пораньше. А вам обязательно соблюдать такую точность?



Прежде чем ответить, отец Бэддли немного подумал – несколько секунд, но очень серьезно, словно вопрос показался ему новым и неожиданно интересным.

– Думаю, да. Иначе это потеряло бы всякий смысл.

Юный Дэлглиш, для которого смысл беседы был уже и так безнадежно утерян, закончил разговор и убрел куда-то по другим, куда более насущным и важным делам. «Духовная жизнь». Это выражение мальчик частенько слышал из уст наиболее ревностных прихожан отца, хотя никогда – от самого каноника. Время от времени Адам пытался мысленно представить себе, что же таит этот незнакомый, чужой опыт. Протекает ли духовная жизнь одновременно с обычной, повседневной – подъем, завтрак, школа, каникулы – или же является сущностью совсем иного уровня, куда нет доступа ни ему, Адаму, ни иным непосвященным, но куда отец Бэддли может попасть в любую минуту, только пожелай? Однако в любом случае едва ли эта жизнь имела хоть какое-то отношение к столь тщательному отображению в дневнике ежедневной рутины.

Взяв с полки последнюю тетрадку, Дэлглиш наскоро просмотрел ее. Система отца Бэддли не изменилась. Все то же – по два дня на страницу, день ото дня отделен аккуратной чертой. Точное время, за которое автор дневника читал утреннюю и вечернюю молитвы; куда ходил на прогулку и сколько эта прогулка длилась; ежемесячная автобусная поездка в Дорчестер, еженедельная – в Уорхэм; часы, проведенные на службах в Тойнтон-Грэйндж; всякие нерегулярные мелочи; методичный отчет обо всем, чем пожилой священник заполнял каждый час на протяжении череды ничем не примечательных лет – и каждое событие записано с педантичностью и дотошностью счетовода. «Это и есть духовная жизнь: самые обычные вещи, которые делаешь день ото дня, час от часу». Неужели все и правда настолько просто?

Но где же нынешний дневник, тетрадь за третий квартал семьдесят четвертого? Обычно отец Бэддли хранил под рукой дневники за последние три года. Тетрадок должно было быть пятнадцать, однако Дэлглиш насчитал лишь четырнадцать. Дневник обрывался на конце июня. Дэлглиш почти лихорадочно перерыл ящички бюро. Дневника там не оказалось, зато кое-что командер все же нашел. Под тремя счетами – за уголь, керосин и электричество – лежал листок тонкой дешевой бумаги с неумело и косо оттиснутым логотипом Тойнтон-Грэйндж. Снизу кто-то подпечатал:

«Старый святоша, почему бы тебе не убраться отсюда и не освободить коттедж для кого-нибудь, от кого будет побольше толку? Думаешь, мы не знаем, чем это вы занимались с Грейс Уиллисон, когда ты якобы ее исповедовал? Небось жалеешь, что на деле уже ничего не можешь? А как насчет того парнишки из хора? Не воображай, будто мы не в курсе».

Первой реакцией Дэлглиша было скорее раздражение на глупость этой записки, чем гнев на злобу, которую она источала. Детская, беспричинная гадость, лишенная даже сомнительного достоинства правдоподобия. Бедный семидесятилетний отец Бэддли, обвиненный одновременно в прелюбодеянии, содомии и импотенции! Неужели хоть один здравомыслящий человек мог отнестись к этой жалкой чуши достаточно серьезно, чтобы хотя бы обидеться? За свою профессиональную карьеру Дэлглиш насмотрелся на подобные анонимки, и это был еще сравнительно безобидный экземпляр. Видимо, и писали его без настоящей злости и запала. «Небось жалеешь, что на деле уже ничего не можешь?» Большинство авторов подметных писем нашли бы куда более выразительные образы для описания предполагаемых занятий отца Бэддли. А намеков на парнишку из хора? Ни имени, ни точного времени. Никакой конкретики. Неужели отец Бэддли и правда принял эту вздорную выходку настолько близко к сердцу, что обратился за помощью к профессиональному детективу, которого и не видел-то уже добрых тридцать лет? Возможно. А возможно, это не единственное письмо. Если подобная зараза охватила весь Тойнтон-Грэйндж, дело куда серьезнее. В тесном и замкнутом кружке людей любитель анонимок может причинить немало вреда, а то и стать настоящим убийцей. Если отец Бэддли заподозрил, что такие письма получает не он один, то вполне мог обратиться за профессиональной помощью. Или – что еще интереснее – кто-нибудь хочет, чтобы Дэлглиш именно так и подумал? Странно, что после смерти отца Бэддли никто не нашел и не уничтожил это письмо. Наверняка ведь кто-то из Тойнтон-Грэйндж просматривал бумаги старого священника. Едва ли подобное послание оставили бы лежать просто так, в ящике, где на него может наткнуться кто угодно.

Дэлглиш спрятал листок в бумажник и продолжил осматривать коттедж. Спальня отца Бэддли оказалась именно такой, как он ожидал. Маленькое оконце с выцветшими кретоновыми занавесочками. Узкая кровать все еще застелена, стеганое покрывало туго натянуто на комковатую подушку. По двум стенам – книжные полки до потолка; крохотный прикроватный столик с дешевой лампой; Библия; тяжелая и кричаще-яркая фарфоровая пепельница с рекламой пива. Там все еще лежала трубка отца Бэддли, а рядом Дэлглиш заметил наполовину

использованный пакетик картонных отрывных спичек, какие дают в ресторанах и барах. На этом красовалась реклама «Старого Тюдоровского амбара», трактира где-то под Уорхэмом. В пепельнице лежала и одна использованная спичка, разорванная на тонкие полосочки до самого обгорелого кончика. Дэлглиш улыбнулся – эта привычка тоже пережила минувшие тридцать лет. Он живо помнил, как маленькие белычьи пальцы отца Бэддли проворно терзали кусочки картона, точно пытаясь побить предыдущий личный рекорд. Он взял спичку и снова улыбнулся – шесть полосочек. Отец Бэддли превзошел сам себя.

Дэлглиш зашел на кухню – маленькую, скудно обставленную и уютную, хоть и не блещущую чистотой. Небольшая газовая плита запросто украсила бы любой музей народного быта. К каменной раковине под окном с одной стороны была приделана давно потерявшая товарный вид деревянная сушка, от которой пахло прогорклым жиром и мылом. За раздернутыми выцветшими кретоновыми занавесками, на которых, попирая все законы природы, переплетались махровые розы и нарциссы, открывался вид на далекие холмы. По небу, растворяясь в безбрежном синем просторе, плыли тонкие, как струйки дыма, облачка, а белые овцы, нежащиеся на пастбище, напоминали белых слизняков.

Дэлглиш исследовал кладовую. Здесь по крайней мере обнаружилось доказательство, что его визита ждали. Отец Бэддли и правда прикупил еды. Запас консервов служил обескураживающим напоминанием о взглядах пожилого священника на адекватный рацион. Сразу было видно, что он запасался на двоих едоков, из которых у одного аппетит лучше, чем у другого: банки побольше трогательно соседствовали с банками поменьше, по одной каждого вида – тушеные бобы, тунец, ирландское рагу, спагетти, рисовый пудинг.

Адам вернулся в гостиную. Усталость уже начала сказываться – должно быть, дорога утомила его сильнее, чем он думал. Тяжелые часы в дубовом футляре, солидно тикавшие на каминной полке, не показывали еще и четырех, но все тело инспектора протестующе твердило, что день выдался длинный и утомительный. Мучительно хотелось чаю. В кладовке стояла банка с чаем, но молока не нашлось. Интересно, включен ли еще газ?

Тогда-то Дэлглиш и услышал шаги на крыльце и лязг защелки. Послеполуденные лучи обрисовали в дверном проеме женский силуэт. Серьезный, однако, несомненно, женский голос со слабым, едва различимым ирландским акцентом воскликнул:

– Силы небесные! Тут кто-то есть! Да еще мужчина! Что вы здесь делаете?

Незнакомка вошла в комнату, оставив дверь нараспашку. Теперь Дэлглиш сумел хорошо разглядеть нежданную гостью. Лет тридцати пяти, крепкая, тонконогая, с гривой желтых волос до плеч. Заметно, что у корней волосы более темного оттенка. Широкое, почти квадратное лицо, узкие глаза под тяжелыми веками, большой рот. Одета незнакомка была в коричневые мешковатые тренировочные штаны, грязные парусиновые туфли – некогда белые, а теперь все в пятнах травы – и хлопчатобумажную блузку без рукавов с открытым вырезом, под которым открывался треугольник загорелой, усыпанной веснушками кожи. Тяжелая грудь, не удерживаемая лифчиком, свободно болталась под тонкой тканью. С левого запястья незнакомки свисали три деревянных браслета. В результате складывалось общее впечатление вульгарной, но отнюдь не лишенной определенного шарма сексуальности, яркой и сильной. Хотя незнакомка не пользовалась духами, но внесла в комнату собственный, женский и индивидуальный, запах.

– Меня зовут Адам Дэлглиш. Я приехал повидаться с отцом Бэддли. Впрочем, кажется, это уже невозможно.

– Да, точнее не скажешь. Опоздали ровно на одиннадцать дней. На одиннадцать – чтобы увидеть его, и на пять – чтобы поспеть на похороны. А вы кто – его приятель? Мы и не знали, что у него есть друзья. Впрочем, мы о нашем преподобном Майкле вообще много чего не знали – скрытный был старичок. Уж о вас он точно никому не рассказывал.

– Мы почти не встречались с тех пор, как я был мальчишкой. Я и написал-то ему, что приеду, всего за день до его смерти.

– Адам. Хорошее имя. Мне нравится. Теперь так многие детишек называют. Снова входит в моду. Хотя в школьные годы вам оно, верно, казалось страх каким занудным. Но вам подходит. Сама не знаю почему. Слегка витаєте в облаках, да? А! Ну теперь-то я все про вас знаю. Вы приехали забрать книги.

– А надо?

– Те, что Майкл оставил вам по завещанию. «Адаму Дэлглишу, единственному сыну покойного каноника Александра Дэлглиша, все мои книги с тем, чтобы он оставил их себе или распорядился иначе по своему разумению». Я еще запомнила, потому что имена сразу показались какими-то необычными. А вы, выходит, времени даром не теряете. Странно, что адвокаты вам вообще написать успели. Обычно Боб Лоудер не так проворен. Впрочем, на вашем месте я бы не ждала ничего особенного. Лично мне эти книжки ценными никогда не казались. Груда старых пыльных томов по теологии. Кстати, вы ведь не ждали, что получите еще и деньги? Если ждали, у меня для вас дурные новости.

– Я вообще не знал, что у отца Бэддли есть какие-то деньги.

– Вот и мы не знали. Еще одна его маленькая тайна. Он оставил девятнадцать тысяч фунтов. Не бог весть какое состояние, но небесполезное. Он все завещал Уилфреду в пользу Тойнтон-Грэйндж, и, насколько я слышала, денежки придутся как раз вовремя. Кроме него, в наследниках еще только Грейс Уиллисон. Ей досталось это старое бюро. По крайней мере достанется, когда Уилфред позаботится вышвырнуть его отсюда.

Незнакомка устроилась в кресле у камелька, вытянув обе ноги. Волосы ее разметались по высокому подголовнику. Дэлглиш придвинул себе одно из кресел-качалок и сел напротив нее.

– Вы хорошо знали отца Бэддли?

– Да мы здесь все друг друга хорошо знаем, от этого и половина бед. А что, думаете тут подзадержаться?

– В этих краях, возможно, на день-другой. Но здесь-то уже не останешься...

– Не понимаю, а почему бы нет? Если, конечно, хотите. Дом пустует, во всяком случае, пока Уилфред не найдет новую «жертву». В смысле, арендатора. И не думаю, что он будет иметь что-нибудь против. Кроме того, вам ведь надо разобраться с книжками, правда? Уилфред наверняка захочет, чтобы их убрали к появлению нового священника.

– Значит, коттедж принадлежит Уилфреду Энсти?

– Он хозяин Тойнтон-Грэйндж и всех коттеджей, кроме коттеджа Джулиуса Корта – этот находится чуть дальше, ближе к берегу, из него одного вид на море открывается. Все остальное в имении целиком принадлежит Уилфреду – и мы тоже, с потрохами. – Она окинула Дэлглиша оценивающим взглядом. – У вас ведь нет никаких особо ценных умений? В смысле, вы ведь не физиотерапевт, не брат милосердия, не врач и не ассистент врача? Судя по виду – едва ли. А если иначе, то вот вам мой совет: убирайтесь подобру-поздорову, пока Уилфред не решил, что вы слишком полезны, чтобы вас отпускать.

– Не думаю, что мои умения покажутся ему такими уж ценными и полезными.

– Тогда я бы на вашем месте осталась, если, конечно, это вас устраивает. Впрочем, лучше сразу ввести вас в курс дела. Глядишь, передумаете.

– Начните с себя, – предложил Дэлглиш. – Вы еще даже не представились.

– Боже праведный, и впрямь не сказала! Прошу прощения. Я Мэгги Хьюсон. Мой муж – местный врач. Практикует здесь, в Тойнтон-Грэйндж, с проживанием. То есть проживает-то он со мной в коттедже, предоставленном нам Уилфредом и весьма уместно названном «Любовь», однако большую часть времени проводит в Тойнтон-Грэйндж. Учитывая, что пациентов нынче только пять, прямо-таки задумаешься, чем он там занимается. Вот вы, Адам Дэлглиш, как думаете, что он поделывает?

– А отца Бэддли ваш муж лечил?

– Называйте его Майклом, мы все его так звали, кроме Грейс Уиллисон. Да, Эрик лечил преподобного, пока он был жив, и подписал свидетельство о смерти, когда он умер. Полгода назад он бы этого не сделал, но теперь его имя снова внесли в медицинский реестр. Так что теперь мой супруг снова может ставить подпись, удостоверяющую, что ты умер вполне законным и приличным образом. Господи, ну и привилегия!

Она расхохоталась, а затем, порывшись в карманах, вытащила пачку сигарет и закурила. После протянула пачку Дэлглишу. Коммандер покачал головой. Мэгги пожала плечами и выдула в его сторону кольцо дыма.

– От чего скончался отец Бэддли? – спросил Адам.

– Сердце остановилось. Нет-нет, я и не думаю шутить. Он же был старый, сердце слабое, вот и перестало биться двадцать первого сентября. Острый инфаркт миокарда, осложненный вялотекущим диабетом, если вам так нужен медицинский жаргон.

– Он был один?

– Думаю, да. Скончался ночью. По крайней мере последней его видела Грейс Уиллисон в семь сорок пять, когда он ее исповедовал. Должно быть, бедняга умер со скуки. Нет-нет, понимаю, не следовало мне так говорить. Дурной тон, Мэгги. Грейс заявила, что вид у него был совсем обычный, только, конечно, усталый – ну так он же тем утром из больницы выписался. А на следующий день я пришла часов в девять спросить, не надо ли чего из Уорхэма – собиралась на одиннадцатичасовой автобус, Уилфред не разрешает здесь держать личные автомобили, – а он лежит мертвый.

– В постели?

– Нет, в этом вот кресле, в котором вы сейчас сидите, – откинулся назад, рот открыт, глаза закрыты. В сутане, с этой своей лентой на шее. Все чин чинном. Только что мертвый.

– Выходит, первой тело обнаружили именно вы?

– Ну, может, Миллисента, она живет в соседнем коттедже, потихоньку пробралась сюда с утра пораньше, но испугалась и убралась обратно. Она вдовья сестра Уилфреда, если вам интересно. На самом деле странно, что она не зашла к преподобному, зная, что он один и болен.

– Должно быть, вы очень испугались.

– Да нет, не слишком. До замужества я ведь работала медсестрой. Столько мертвецов видела – и счет потеряла. А он-то был совсем старым. Молодые, особенно дети, вот кто в тоску вгоняет. Господи, как же я рада, что покончила с этой тягомотиной!

– А вы покончили? Значит, не работаете в Тойнтон-Грэйндж?

Прежде чем ответить, Мэгги поднялась с кресла и подошла к камину. Выдула прямо в зеркало над каминной полкой струю дыма, приблизила к нему лицо, словно вглядываясь в отражение.

- Не работаю - когда могу отвертеться. И, видит бог, стараюсь отвертеться. Впрочем, сами все узнаете. Я в местном сообществе паршивая овца, отбросы общества, еретичка. Не сею, не жну. Неуязвима перед чарами нашего дорогого Уилфреда. Глуха к стонам страждущих. Не преклоняю колена пред алтарем.

Она снова повернулась к Дэлглишу с видом одновременно и вызывающим, и расчетливым. Коммандер подумал, что этот взрыв эмоций носил отнюдь не спонтанный характер, а протест звучал прежде - и не раз. Тирада выглядела таким ритуальным самооправданием, и Адам подозревал, что кто-то помог Мэгги написать сценарий.

- Расскажите мне про Уилфреда Энсти, - попросил коммандер.

- А Майкл вас не предупреждал? Нет, думаю, он не стал бы. Что ж, история довольно-таки странная, но постараюсь изложить ее покороче. Прадед Уилфреда выстроил Тойнтон-Грэйндж. Дед в завещании оставил поместье пополам Уилфреду и его сестре Миллисенте. Уилфред выкупил ее долю, когда основал приют. Восемь лет назад у Уилфреда развился множественный склероз. Прогрессировал очень быстро - через три месяца бедняга уже был прикован к инвалидной коляске. Тогда он отправился в паломничество в Лурд - и исцелился. Судя по всему, заключил с Богом сделку. Ты меня исцеляешь, а я посвящаю Тойнтон-Грэйндж и деньги инвалидам. Бог согласился, и теперь Уилфред исполняет свою часть договора. Полагаю, боится, что, если пойдет на попятный, болезнь вернется. В общем, я ничего против Уилфреда не имею. Наверное, я и сама такая. Мы все в душе страшно суеверные, особенно когда дело касается болезней.

- А его подмывает пойти на попятный?

- Ой, не думаю. Заведение дает ему ощущение власти и силы. Он окружен благодарными пациентами, его полусуеверно и благоговейно почитают женщины, а Дот Моксон, так называемая старшая сестра, хлопочет над ним, точно наседка над яйцами. Уилфред вполне счастлив.



– И когда же произошло это чудо? – спросил Дэлглиш.

– Он утверждает – когда его окунули в заводь. Говорит, испытал сперва шок от жгучего холода, который немедленно сменился покалывающим теплом, разлившимся по всему телу. А после ощутил величайшее счастье и покой. Со мной такое бывает после третьего стаканчика виски. И если Уилфред может это испытывать от полоскания в ледяной воде, где какие только микробы не плавают, одно скажу – везет человеку. Вернувшись в хоспис, он впервые за шесть месяцев встал на ноги. А три недели спустя скакал как молоденький козлик. Даже не удосужился вернуться в больницу Христа Спасителя в Лондоне, где его лечили, чтобы они могли засвидетельствовать чудо. А ведь была бы знатная шуточка! – Она помолчала, словно собираясь сказать еще что-то, но добавила лишь одно: – Разве не трогательно?

– Очень интересно. А где он взял деньги, чтобы исполнить свою часть договора?

– Пациенты платят, кто сколько сможет, а некоторых местные власти присылают сюда по контракту. Ну и потом, конечно, он пустил в дело и свои капиталы. Правда, сейчас все довольно поганно – во всяком случае, по его словам. Так что наследство отца Бэддли пришлось кстати. И конечно, персонал Уилфред получил по дешевке. Он ведь даже не платит Эрику по обычным расценкам. Филби, работник, он со странностями, да и вообще бывший заключенный, он бы себе нигде больше работы не нашел. Дот Моксон тоже бы больше никуда не взяли после обвинений в жестоком обращении с пациентами. Ей следует быть благодарной Уилфреду за то, что он ее приютил. Да и вообще мы все страшно, страшно признательны милому Уилфреду.

– Наверное, мне стоит самому пойти в Грэйндж и представиться, – заметил Дэлглиш. – Вы говорите, сейчас осталось пять пациентов?

– Их не положено называть пациентами, хотя ума не приложу, как еще, по мнению Уилфреда, их называть. «Обитатели» звучит как-то по-тюремному, хотя, видит Бог, словечко очень подходит. Да, осталось только пятеро. Он не берет никого из списка очередников, пока не определится насчет будущего приюта. Учреждение жаждет заполучить «Риджуэл траст», и Уилфред раздумывает: не передать ли им все чохом и бесплатно. Собственно-то говоря, еще две недели назад в Тойнтон-Грэйндж было шесть пациентов – до тех пор, пока Виктор Холройд не бросился с утеса и не разбился о камни.

– Вы имеете в виду, он покончил с собой?

– Ну, Холройд находился в коляске за десять футов от обрыва – выходит, либо сам снял коляску с тормозов и скатился, либо Деннис Лернер, медбрат, его столкнул. А поскольку Деннису не хватит пороха убить и цыпленка, общее мнение состоит в том, что Виктор сделал это сам. Но поскольку такая версия слишком травмирует чувства нашего дорогого Уилфреда, мы так же дружно делаем вид, будто это несчастный случай. Мне не хватает Виктора, и он мне нравился. Практически единственный, с кем можно было поговорить. А вот остальные его ненавидели. Теперь, разумеется, терзаются угрызениями совести: не обходились ли они с ним несправедливо? Смерть – лучший способ поставить других в неловкое положение. Я вот что имею в виду – если кто-нибудь твердит, будто жить не стоит, ты просто думаешь, что он произносит банальные истины. Но если он подкрепит свои слова действием, невольно призадуматься – не было ли в нем чего-то, чего ты не замечал?

От необходимости отвечать Дэлглиша избавил шум мотора. Мэгги, обладавшая, по всей видимости, столь же острым слухом, что и он, вскочила с кресла и выбежала на крыльцо. К развилке подъезжал длинный черный автомобиль.

– Джулиус! – бросила Мэгги через плечо короткое объяснение и яростно замахала руками.

Машина остановилась, а потом свернула в сторону «Надежды». Дэлглиш увидел, что это черный «мерседес». Мэгги опрометью, как назойливая школьница, побежала рядом, припадая к открытому окну с какими-то объяснениями. Автомобиль затормозил, и оттуда легко выпрыгнул Джулиус Корт.

Он оказался высоким и гибким молодым человеком в брюках и зеленом свитере с декоративными нашлепками на локтях и плечах. Коротко подстриженные светло-каштановые волосы облегли голову, точно бледно сверкающий шлем. Лицо властное и уверенное, заметные мешки под настороженными глазами говорили, что Корт склонен потакать своим прихотям и не отказывает себе во всевозможных радостях жизни. Маленький рот в сочетании с тяжелым подбородком выглядел капризно и упрямо. В среднем возрасте Джулиусу, судя по всему, предстояло приобрести солидную, даже увесистую комплекцию. Однако покамест он казался весьма привлекательным юношей, причем белый треугольный шрам над правым веком лишь усиливал, а не портил это впечатление.

– Как жаль, что вы опоздали на похороны, – протягивая руку, произнес Корт. В его устах это звучало так, точно Дэлглиш опоздал на поезд. Мэгги чуть не взвыла.

– Дорогой, вы не понимаете! Он приехал вовсе не на похороны. Мистер Дэлглиш вообще не знал, что старичок помер.

Корт взглянул на Дэлглиша с проблеском интереса.

– О, прошу прощения. Наверное, вам стоит отправиться в Грэйндж. Уилфред Энсти сможет рассказать об отце Бэддли больше, чем я. Когда старик умер, я был у себя в Лондоне, поэтому не могу даже выступить с захватывающим репортажем с места событий. Ладно, запрыгивайте, вы оба.

Судя по всему, Мэгги Хьюсон вдруг почувствовала, что не представила мужчин друг другу должным образом, и произнесла с опозданием:

– Джулиус Корт, Адам Дэлглиш. Едва ли вы уже встречались в Лондоне. Джулиус раньше был дипломатом.

Когда командер усаживался в машину, Корт небрежно сказал:

– Учитывая относительно низкий уровень, которого я достиг, ко мне это торжественное определение не подходит. Впрочем, не волнуйся, Мэгги. Я, как та проницательная дама из телеигры, кажется, догадываюсь, чем мистер Дэлглиш зарабатывает на жизнь.

Он с утонченной и подчеркнутой любезностью закрыл дверцу. «Мерседес» медленно двинулся к Тойнтон-Грэйндж.

II

Джорджи Аллан лежал на узкой лазаретной койке. Рот его начал гротескно подергиваться, мышцы шеи напряглись. Он попытался оторвать голову от

подушки.

– Я ведь гожусь для паломничества в Лурд, правда? Как вы думаете, меня не оставят здесь?

Слова вырывались с хриплым воющим стоном. Хелен Рейнер приподняла край матраса, ловко на больничным манер заправила простыню и бодро произнесла:

– Ну конечно же, никто вас не оставит. Вы станете главным участником паломничества. А теперь перестаньте нервничать, будьте хорошим мальчиком и попытайтесь отдохнуть перед чаем.

Она улыбнулась ему безличной, профессионально-ободряющей улыбкой хорошо вышколенной сиделки, а потом повела бровью в сторону Эрика Хьюсона. Медики вместе отошли к окну.

– Сколько мы еще сможем за ним ухаживать? – тихо спросила Хелен.

– Месяц, может быть, два, – так же тихо ответил Хьюсон. – Он испереживался от необходимости покинуть приют. Уилфред тоже. Но через несколько месяцев им обоим придется признать неизбежное. Кроме того, Аллан так уповаet на эту поездку в Лурд... Хотя едва ли ко времени нашей следующей поездки он еще будет жив. И уж точно обитать будет не здесь.

– Но его уже сейчас по-хорошему надо отправить в больницу. Мы же не зарегистрированы как частная лечебница – всего лишь приют для молодых инвалидов и людей с хроническими заболеваниями. Наш контракт заключен с местными властями, а не с государственной системой здравоохранения. Мы же не претендуем на предоставление всех медицинских услуг – от нас этого никто и не ждет. Пора бы уж Уилфреду определиться, чего именно он хочет.

– Знаю.

Он и в самом деле знал, оба они все прекрасно знали. Проблема была отнюдь не нова. И почему, гадал Эрик, их разговоры последнее время сплошь да рядом выглядят как прискучившее повторение очевидного – одних и тех же прописных истин, произносимых высоким нравоучительным голосом Хелен?

Они вместе посмотрели вниз, на маленький мощный внутренний дворик, окаймленный двумя новыми одноэтажными пристройками, где находились спальни и гостиные. Маленькая группка оставшихся пациентов собралась там, чтобы перед чаем погреться в последних лучах солнца. Четыре инвалидных кресла стояли чуть поодаль друг от друга, развернутые от дома. Двое наблюдателей видели лишь затылки пациентов. Все четверо сидели недвижно, пристально глядя на мыс. Грейс Уиллисон – лохматые седые космы колыхаются под легким ветерком; Дженни Пеграм – шея вдавлена в плечи, поток золотистых волос струится по спинке коляски, словно выцвел на солнце; Урсула Холлис – маленький круглый пучок на тонкой шейке, высокий и неподвижный, как голова казненного на шесте; Генри Каруардин – темная голова на кривой шее свесилась набок, точно у сломанной марионетки.

В сущности – все они марионетки. На краткий безумный миг доктор Хьюсон представил себе, как выбегает во дворик и заставляет четыре головы кивать и покачиваться. Он дергает за выходящие из затылков невидимые нити, пока воздух не наполняется нестройным и хриплым хором.

– Что это с ними? – спросил Хьюсон. – С этим домом что-то не так.

– Больше, чем обычно?

– Да. А разве вы не заметили?

– Должно быть, скучают по Майклу. Бог весть почему. Он ведь почти ничего и не делал. Если Уилфред надумает продолжать, ему бы надо найти для «Надежды» лучшее применение. Строго говоря, я хотела предложить, чтобы он пустил туда меня. Так нам было бы легче.

Мысль эта ужаснула Эрика. Так вот что она задумала! На плечи свинцовой тяжестью легло привычное уныние. Две самоуверенные неудовлетворенные женщины, и обе хотят чего-то, что он не может им дать. Эрик попытался скрыть панику в голосе.

– Ничего не выйдет. Ты нужна здесь. А я не смогу приходить к тебе в «Надежду», когда Миллисента живет рядом.

– Она как включит телевизор, уже ничего и не слышит. Мы же знаем. А если тебе понадобится быстро уйти, есть черный ход. Это лучше, чем ничего.

– Мэгги что-нибудь заподозрит.

– Она уже подозревает. И рано или поздно все узнает.

– Давай поговорим об этом потом. Сейчас неподходящий момент, чтобы тревожить Уилфреда. После смерти Виктора мы все просто на грани срыва.

Смерть Виктора. Эрик сам удивился, какой извращенный мазохизм заставил его упомянуть Виктора. Ему вспомнились первые дни своего студенчества, когда, вскрыв гноящуюся рану, он испытывал облегчение, потому что вид крови, воспаленной ткани и гноя был менее пугающим, чем то, что воображение рисовало под тонкой марлей. Да, он привык к крови. Привык к смерти. Быть может, привыкнет даже лечить.

Они вместе перешли в маленький врачебный кабинет в передней части здания. Подойдя к раковине, Эрик принялся методично мыть руки, будто простой осмотр юного Джорджа был сложной хирургической операцией, после которой требовалось хорошенько очиститься. За спиной раздавалось звяканье инструментов. Хелен без всякой необходимости снова наводила порядок. Эрик с упавшим сердцем осознал, что предстоит разговор. Но не сейчас. Еще не сейчас. И он прекрасно знал все, что она скажет. Он уже слышал это прежде – старые настойчивые аргументы, произносимые уверенным учительским голосом.

«Ты зря тратишь тут время. Ты врач, а не аптекарь. Ты должен вырваться на свободу, освободиться от Мэгги и Уилфреда. Нельзя, чтобы твоя преданность Уилфреду шла вразрез с твоим призванием». Призванием! Любимое слово его матери. Слыша его, Эрик всякий раз с трудом сдерживал приступ истерического хохота.

Он включил кран на полную мощность. Вода хлынула сильнее, заплескалась, вращаясь в раковине, заполняя уши гулом, похожим на шум прилива. Интересно, что ощутил Виктор, совершив прыжок в забвение? Тяжелое, неуклюжее инвалидное кресло – как оно падало? Плыло ли по воздуху ровно и плавно, как хитроумные летающие приспособления в фильмах о Джеймсе Бонде, готовые в любой момент выпустить крылья и парашют? Или кувыркалось и

переворачивалось, ударяясь о скалы, пока крики Виктора, связанного брезентом и металлом, смешивались с воплями чаек? А что царило у него в мозгу? Экзальтация или отчаяние, ужас или благословенная пустота? И сумели ли чистый воздух и море смыть и унести прочь боль, горечь, злобу?

Только после смерти Виктора обнаружилась вся степень его озлобленности – в специальной приписке к завещанию. Он потратил немало трудов на то, чтобы довести до сведения остальных пациентов, что у него есть деньги, что он сам заплатил полную, пусть и весьма скромную стоимость пребывания в Тойнтон-Грэйндж и в отличие от прочих (кроме Генри Каруардина) не зависит от милости местных властей. Источника своего состояния он никому не открыл – Виктор был простым школьным учителем, а им навряд ли особо много платят, – и об этом так никто ничего и не знал. Возможно, Мэгги он и сказал – Виктор так много всего говорил Мэгги. Однако на этот счет она хранила нехарактерное молчание.

Эрик Хьюсон не верил, что Мэгги заинтересовалась Виктором исключительно из-за денег. В конце концов, у них двоих было много общего. Оба не скрывали, что ненавидят Тойнтон-Грэйндж, находятся здесь по необходимости, а не по доброй воле, и презирают своих товарищей. Вполне вероятно, Мэгги пришлось по вкусу ядовитая злоба Виктора. Они проводили много времени вместе, и Уилфред вроде бы ничего и не имел против. Наоборот, он их почти поощрял – как будто считая, что Мэгги наконец-то нашла в Тойнтон-Грэйндж свое место. Она по очереди с Деннисом возила тяжелое кресло Виктора по его излюбленным маршрутам. Холройд любил смотреть на море – обретал в этом зрелище определенный душевный покой. Мэгги проводила с ним долгие часы, вне видимости от дома, высоко на краю утеса. Однако Эрика это ничуть не беспокоило. Он как никто другой знал: Мэгги ни за что не полюбит человека, неспособного удовлетворить ее физически. Он даже приветствовал эту дружбу: по крайней мере она давала Мэгги хоть чем-то занять время, хоть как-то ее утихомиривала.

Эрик уже и не мог вспомнить, когда именно она начала мечтать о деньгах. Должно быть, Виктор что-то такое сказал. Мэгги переменялась буквально за ночь, сделалась куда более оживленной, почти веселой. А потом Виктор внезапно потребовал, чтобы его отвезли в Лондон – на обследование в больницу, а также для консультации с поверенным. Тогда-то Мэгги и намекнула мужу насчет завещания. Ему отчасти передалось ее возбуждение. Теперь он сам удивлялся: и на что, собственно, они надеялись? Видела ли она в этих деньгах средство избавиться от Тойнтон-Грэйндж или же еще и от него, Эрика? Впрочем, в любом случае это решало бы большую часть проблем для них обоих. Да и сама

идея казалась совсем не абсурдной. Все знали, что у Виктора нет родственников, кроме сестры в Новой Зеландии, которой он никогда не писал. Нет, думал Эрик, беря полотенце с крючка и начиная вытирать руки, мечта была отнюдь не безумной: по крайней мере, менее безумной, чем реальность.

Он вспомнил ту обратную поездку из Лондона: теплый замкнутый мирок «мерседеса»; молчаливый Джулиус; его руки, легко покоящиеся на руле; серебряная лента дороги с бесконечно скользящими под колесами отражениями звезд; выпрыгивающие из темноты дорожные знаки на фоне темно-синего неба; мелкие зверьки, на краткий миг выхватываемые светом фар, – словно окаменевшие, замершие, шерсть дыбом; золотистые края шоссе. Виктор сидел с Мэгги на заднем сиденье, кутаясь в клетчатый плащ из шотландки, и улыбался, все время улыбался. А в сгустившемся воздухе висели секреты и тайны.

Виктор и в самом деле изменил завещание. К основной части, в которой он отказывал все состояние сестре, прибавил небольшое дополнение, окончательное подтверждение своей мелочной злобы: Грейс Уиллисон – кусок туалетного мыла; Генри Каруардину – флакон полоскания для рта; Урсуле Холлис – дезодорант; Дженни Пеграм – зубочистку.

Эрик подумал, что Мэгги перенесла случившееся хорошо. Действительно хорошо – если можно так сказать о приступе дикого, неудержимого и звенящего хохота. Он вспомнил, как она, пошатываясь, бродила по их маленькой гостиной, совсем обессиленная от истерики, запрокинув голову и смеясь хриплым, лающим смехом. Хохот отражался от стен, точно гвалт бродячего зверинца, и раскатывался по всему берегу, так что Эрик всерьез боялся, не услышат ли этот звук в самом Тойнтон-Грэйндж.

Хелен смотрела в окно.

– У «Надежды» стоит какая-то машина, – резко произнесла она.

Эрик подошел к ней, встал рядом, выглянул. Глаза их медленно встретились. Хелен взяла его за руку. Голос ее был тих и нежен – голос, который он впервые услышал после того, как они стали любовниками:

– Тебе не о чем тревожиться, дорогой. Ты ведь знаешь, правда? Решительно не о чем.



Урсула Холлис захлопнула библиотечную книгу, прикрыла глаза, чтобы не слепило послеполуденное солнце, и погрузилась в сокровенные мечты наяву. Заниматься этим сейчас, в краткую пятнадцатиминутную паузу перед чаем, несомненно, было чистейшим потаканием своим слабостям. Поэтому молодая женщина, как всегда, преисполнилась чувством вины за столь несвоевременное удовольствие, опасаясь при этом, что ничего не получится. Обычно Урсула дожидалась, пока не ляжет спать, более того – пока хриплое дыхание Грейс Уиллисон, отлично слышное сквозь тонкую перегородку, не станет совсем тихим и сонным. И лишь потом Холлис позволяла себе думать о Стиве и квартирке на Белл-стрит. Ритуал превратился для нее в усилие воли. Она лежала, едва смея дышать, потому что видения, даже самые ясные и четкие, были так мимолетны, так легко распадались и исчезали. Однако теперь все вышло наилучшим образом. Она сосредоточилась и увидела, как аморфные формы и расплывчатые пятна света сливаются в единую картинку, четкую, точно проявившаяся фотография. В ушах зазвучали милые сердцу звуки.

Мысленному взору Урсулы предстала кирпичная стена дома напротив – утреннее солнце высвечивало тусклый фасад девятнадцатого века, так что можно было разглядеть каждый кирпич. Тесная двухкомнатная квартирка над кулинарией мистера Полански, улица под окнами, шумная разнообразная жизнь той части Лондона между Эдгвар-роуд и станцией «Марилебон» поглотила, заколдовала ее. Урсула снова была там, снова шла со Стивом по рынку на Черч-стрит воскресным утром, в самый счастливый день недели. Видела, как местные торговки в цветных комбинезонах и войлочных шлепанцах – на расплывшихся лицах сверкают яркие глаза, в распухшие натруженные пальцы врезаются массивные обручальные кольца – сидят, сплетничая, возле прилавков с поношенной одеждой; празднично одетая молодежь примостилась на бордюриках за лотками со всякими старинными безделушками; туристы, то беззаботно-веселые, то настороженные и проникательные, совещаются друг с другом, держа в руках доллары, или хвастаются приобретенными сокровищами. На улице витал запах фруктов, цветов и специй, потных тел, дешевого вина и старых книг. Урсула видела, как чернокожие женщины с выпирающими ягодицами и высокими, по-варварски переливчатыми голосами толпятся вокруг тележки с грудой незрелых бананов и здоровенных манго размером с добрый

футбольный мяч, слышала раскаты внезапного горлового смеха. В мечтах Урсула шагала по улице, переплетя пальцы с пальцами Стива, как незримый призрак, идущий знакомой тропой.

Восемнадцать месяцев ее брака стали временем острого, но хрупкого счастья – хрупкого потому, что она никогда не ощущала, чтобы это счастье стояло на чем-то реальном и прочном. Это было все равно что сделаться другим человеком. До тех пор Урсула приучила себя довольствоваться жизнью и звала это довольство счастьем. После осознала, что ей открылся мир опыта, переживаний и даже раздумий, к которым ничто за предыдущие двадцать лет в пригороде Мидлсбро и два с половиной года работы в лондонской гостинице для молодежи не могло ее подготовить. И только одно омрачало неземное счастье тех восемнадцати месяцев: Урсула не могла подавить смутное чувство, будто все это происходит не с ней, будто на этом празднике жизни она самозванка.

Она просто представить не могла, что же в ней привлекло прихотливое внимание Стива в тот первый раз, когда он заглянул в справочное бюро спросить насчет цен. Быть может, та единственная ее черта, которая всегда казалась самой Урсуле уродством, – то, что один глаз у нее был голубым, а второй карим? Вероятно, эта особенность заинтриговала и позабавила его, придала ей, как она теперь понимала, в глазах Стива дополнительную ценность. Он изменил ее внешность – заставил отпустить волосы до плеч, приносил ей длинные индийские юбки, которые отыскивал на развалах под открытым небом или в лавчонках в переплетении улиц за Эдгвар-роуд. Порой, краем глаза замечая в зеркальных витринах себя, столь чудесно преобразившуюся, Урсула снова гадала: по какой непонятной причуде он выбрал именно ее, что за черты, не замеченные никем другим, неизвестные даже ей самой, он в ней увидел? Какое-то ее качество зацепило эксцентричную фантазию Стива – как, бывало, цепляла какая-нибудь странненькая вещица на антикварных лотках Белл-стрит. Диковинка, не замеченная и не оцененная другими прохожими, вдруг привлекала его внимание, и он, очарованный, вертел ее так и сяк, поворачивая к свету. Урсула робко возражала:

– Послушай, милый, это же гадость...

– Нет, что ты! Ужасно забавная штукавина. И Моггу наверняка понравится. Давай купим ее для Могга.

Могг, лучший и, как Урсула порой думала, единственный друг Стива, при крещении получил имя Морган Эванс. Однако теперь он предпочитал прозвище Могг, считая его более подходящим для поэта, воспевающего классовую борьбу. Не то чтобы сам он активно боролся, хотя Урсула не встречала никого, кто бы столь энергично ел и пил за чужой счет. Сдавленные боевые возгласы во славу анархии он издавал преимущественно в пабах, где обросшие и грустноглазые слушатели внимали ему молча или время от времени стучали пивными кружками по столам, одобрительно ворча. Однако проза Могга была куда более внятной. Урсула только раз прочла его письмо прежде, чем сунуть обратно в карман джинсов Стива, и все же теперь могла бы повторить каждое слово. Подчас она гадала: уж не хотел ли сам Стив, чтобы она обнаружила это письмо, так ли случайно он забыл очистить карманы джинсов вечером, когда Урсула относила накопившуюся грязную одежду в стирку? Это произошло через три недели после того, как врачи подтвердили окончательный диагноз.

«Не реши я на этой неделе раз и навсегда отказаться от штампов, то сказал бы, что я это говорил. Я предрекал катастрофу – хоть и не настолько полную. Бедный мой Стив, чертяка! Разве ты совсем никак не можешь получить развод? Наверняка у нее уже были какие-то симптомы еще до свадьбы. Ты ведь можешь – или мог бы – получить развод при наличии каких-нибудь венерических заболеваний на момент свадьбы. А ведь что такое старый добрый трипак по сравнению с этим? Меня просто изумляет безответственность так называемых установлений насчет брака. Балаболят о святости брачных уз, что, мол, брак – это основа общества, а потом позволяют человеку взвалить себе жену на плечи, не проверив ее даже так, как изучают подержанную машину. Ты ведь понимаешь, что должен вырваться на свободу? Иначе тебе конец. И не пытайся прикрыться трусостью «сострадания». Ты можешь реально представить себе, как возишь ее инвалидную коляску или подтираешь ей задницу? Да, знаю, некоторые мужчины на такое способны. Но ты-то никогда не страдал тягой к мазохизму, а? Кроме того, подобные мужья кое-что смыслят в любви, а ты, дорогой мой Стив, на это даже не претендуешь. Кстати, а разве она не католичка? Поскольку вы просто зарегистрировались, а не обвенчались в церкви, сомневаюсь, что она сама считает, будто должным образом вышла замуж. Возможно, это и есть подходящая лазейка для тебя. Во всяком случае, увидимся в «Гербе каменщика», в среду в восемь. Я отмечу твое несчастье новой поэмой и пинтой пива».

Урсула вовсе не рассчитывала, что Стив будет возить ее инвалидное кресло. Не хотела, чтобы он оказывал ей простейшие, наименее интимные услуги физического характера. Еще в самом начале семейной жизни она накрепко усвоила: любая болезнь, даже мимолетная простуда или дурнота, пугала Стива, вызывала у него отвращение. Но она надеялась, что болезнь будет развиваться медленно, что она сможет обслуживать себя сама еще несколько драгоценных лет. Она даже планировала, как все это лучше осуществить. Будет вставать пораньше, чтобы не оскорблять его своей медлительностью и неловкостью. Передвинет мебель – совсем чуть-чуть, на несколько дюймов, он даже скорее всего ничего и не заметит, а ей будет на что опереться потихоньку, так что не придется слишком быстро переходить на трости и костыли. Возможно, удастся найти и квартиру поудобнее, на первом этаже. Если на крыльце будет пандус, она сможет днем ходить за покупками. И ведь еще останутся ночи – ночи вдвоем. Ведь этого-то уж точно ничто не изменит!

Однако скоро стало ясно, что недуг, неумолимый хищник, крадущийся по ее нервам, придерживается своей скорости, а не ее. Планы, которые строила Урсула, неподвижно лежа рядом со Стивом на огромной двуспальной кровати, отодвинувшись от мужа на безопасное расстояние, чтобы случайно не потревожить его мышечным спазмом, стали нереализуемы. Глядя на патетически-жалостные старания жены, Стив пытался проявлять доброту и участие. Ничем не упрекнул ее – только все отдалялся и отдалялся. Ничем не усугубил ее нарастающую слабость – лишь продемонстрировал собственное бессилие. По ночам, в кошмарах, она тонула: задыхаясь, барахталась в безбрежном море, цеплялась за плывущий мимо сук и чувствовала, как дерево тоже начинает тонуть, прогнившее, распадающееся в руках. Урсула с убийственной ясностью понимала, что приобретает смиренно-жеманный, убогий вид инвалида. Трудно было вести себя с мужем естественно, еще труднее – говорить. Она помнила, как Стив, бывало, лежал, вытянувшись во весь рост на софе, глядя, как она читает или шьет, – она, существо, им выбранное и им созданное, одетое в эксцентричную одежду, которую он сам ей приносил. Теперь же она боялась встретиться с ним взглядом.

Она помнила, как Стив преподнес ей новость: он, мол, разговаривал с медицинским социальным работником в больнице. В Тойнтон-Грэйндж, возможно, скоро появится вакансия.

– Совсем рядом с морем, дорогая. Ты ведь всегда любила море. Крошечная община, не то что эти огромные безликие институты. Тип, который там

заправляет, – весьма уважаемая персона, да и все в приюте поставлено на религиозной основе. Сам Энсти не католик, но пациенты регулярно ездят в Лурд. Это тебе понравится... Ты ведь всегда интересовалась религией. Это как раз единственное, в чем мы с тобой не сходились. Наверное, я проявлял к этой теме слишком мало внимания.

Теперь Стив мог снисходительно относиться к этой маленькой слабости жены. Он напрочь забыл, что сам же и приучил ее обходиться без Господа. Вера принадлежала к разряду того, чего Стив – небрежно, не думая и не вдумываясь – лишил Урсулу. Впрочем, религиозные чувства и не были по-настоящему важны для нее – эти утешающие заменители секса и любви. Она не могла даже перед собой притворяться, будто особо сражалась за эти милые иллюзии, подхваченные в начальной школе Святого Матфея или впитанные за задернутыми териленовыми занавесками гостиной ее тети на Алма-террас, Мидлсбро, где на стенах висели картинки на библейские сюжеты, фотография папы Иоанна, а в специальной рамочке – его благословение на брак тети и дяди. Все это было составляющими сиротского, безсобытийного, хоть и не несчастного детства, которое теперь казалось таким же далеким, как какой-нибудь чужой берег, где ты и был-то всего один раз. Урсула не могла вернуться – она больше не знала пути туда.

В конце концов она приветствовала мысль о Тойнтон-Грэйндж как об убежище. В воображении Урсула рисовала, как греется на солнышке с группой таких же товарищей по несчастью и смотрит на море – море, постоянно меняющееся, но вечное, успокаивающее и в то же время пугающее, говорящее ей своим беспрестанным ритмичным боем, который на самом деле ничего не значит, что людские горести так мелки, что все в свое время пройдет и прекратится. И ведь это не навсегда. Стив собирался при помощи местной социальной службы переехать в новую, более удобную квартиру – так что это лишь временная разлука.

Однако разлука тянулась вот уже восемь месяцев, восемь месяцев, на протяжении которых Урсула чувствовала себя все несчастнее и несчастнее. Она пыталась это скрывать: ведь ощущать себя несчастным в Тойнтон-Грэйндж значило грешить против Святого Духа и против Уилфреда. И по большей части Урсуле казалось, что ей удастся держать себя в руках. С остальными пациентами у нее было мало общего. Грейс Уиллисон – скучная набожная тетка средних лет. Восемнадцатилетний, вопиюще вульгарный мальчишка Джорджи Аллан, – насколько же легче стало, когда болезнь уже не позволяла ему

вставать с постели. Генри Каруардин – отчужденный саркастичный сноб, обращающийся с ней как с каким-то мелким служащим. Дженни Пеграм, вечно возящаяся со своими волосами и улыбающаяся глупой лукавой улыбочкой. И Виктор Холройд, этот ужасный Виктор, который ненавидел Урсулу так же сильно, как и всех остальных в Тойнтон-Грэйндж. Виктор, который не считал, что таить горе про себя – добродетель, и частенько заявлял, что коли уж люди решили посвятить себя благотворительности, так им только на руку, когда есть кого облагодетельствовать.

Она всегда считала само собой разумеющимся, что анонимку написал именно Виктор. Письмо это в некотором смысле ранило ее так же сильно, как и найденное послание от Могга. Урсула нащупала его у себя глубоко в боковом кармане юбки. Оно все еще лежало там – сложенный листок дешевой бумаги, засаленный от постоянного ощупывания. Ей и не требовалось его читать. Она знала его наизусть, даже первый абзац, который прочла только раз, а потом завернула край бумаги так, чтобы не было видно слов. Стоило ей только подумать о них, у нее начинали гореть щеки. Откуда он (наверняка же это был мужчина?) знал, как они со Стивом занимались любовью, что они делали именно это и именно так? Как вообще это стало известно? Быть может, она говорила во сне, стонала от желания и тоски? Но даже и тогда слышать могла лишь Грейс Уиллисон в соседней спальне – а как ей было понять, что происходит?

Урсула вспомнила, что где-то читала, будто непристойные письма обычно пишут женщины, особенно старые девы. Наверное, все же это не Виктор Холройд. Грейс Уиллисон – скучная, подавленная, набожная Грейс. Только как она догадалась о том, в чем Урсула не признавалась даже самой себе?

«Да ты же понимала, что больна, когда выходила замуж. Как насчет дрожи, слабости в ногах, неуклюжести по утрам? Ведь ты понимала все, верно? Ты обманула его. Неудивительно, что он так редко пишет и никогда не навещает тебя. Знаешь, он ведь живет не один. Ты ведь не ждала, что он станет хранить тебе верность, правда?»

На этом письмо обрывалось. Почему-то Урсула чувствовала, что его не дописали, что под конец задумывалось еще какое-нибудь драматическое разоблачение. Но похоже, автору – ему или ей – помешали: кто-то неожиданно вошел в офис.

Напечатано оно было на тойнтон-грэйнжской бумаге, дешевой и впитывающей, как промокашка, на стареньком «Ремингтоне». Почти все пациенты и члены персонала время от времени что-нибудь печатали. Напрягая память, Урсула вспоминала, что видела практически каждого за «Ремингтоном». Разумеется, на самом деле машинка принадлежала Грейс и изначально считалась ее собственностью; мисс Уиллисон, бывало, печатала там письма для ежеквартальной рассылки и частенько работала в офисе одна, когда остальные пациенты считали, что рабочий день закончился. И было так нетрудно принять меры, чтобы послание достигло конкретного адресата.

Сунуть в библиотечную книгу – самый надежный способ. Все здесь знали, что именно читают остальные, – а как иначе? Книжки лежали на столах, на креслах, и взять их мог кто угодно. Весь персонал и пациенты, наверное, видели, что Урсула читает Айрис Мердок. И самое странное: анонимка была заложена ровно на той странице, до которой она добралась.

Сначала Урсула не сомневалась в том, что это просто очередной пример умения Виктора причинять другим людям боль, унижать их. Только после его гибели она начала сомневаться и подозрительно вглядываться в лица товарищей по несчастью, гадать и бояться. Ну разве не глупо? Она терзает себя понапрасну. Наверняка это Виктор, а раз это он, никаких писем больше не будет. Только откуда ему было известно про нее и Стива – если не считать того, что Виктор вообще таинственным образом знал то, чего знать никак не мог. Ей вспомнился один эпизод. Она и Грейс Уиллисон сидели с Виктором во дворике для пациентов. Грейс подняла лицо к солнцу и, нацепив свою дурацкую улыбочку, принялась толковать о том, как счастлива, и о следующем паломничестве в Лурд. Виктор грубо прервал ее:

– Вы так радуетесь, потому что у вас эйфория. Это характерный признак вашего заболевания, многие больные со склерозом отличаются этим ни на чем не основанным ощущением счастья и надежды. Почитайте учебники. Хорошо известный и описанный симптом. С вашей стороны это никакая не добродетель, а нас всех такие штучки чертовски раздражают.

Урсула вспомнила, что голос Грейс задрожал от обиды.

– Я и не претендую на то, что счастье – это добродетель. И даже если это всего лишь симптом, я благодарна ему – это своеобразная милость Господня.

– Если не ждете, что все остальные к вам присоединятся, благодарите сколько угодно. Славьте Господа за то, что не нужны никому, даже себе самой. И коли на то пошло, возблагодарите его и за остальные «милости» – за миллионы людей, что тяжким трудом зарабатывают себе на жизнь, пытаюсь выжить на голой, лишь кровью орошенной земле; за всех несчастных, унесенных потопом или сгоревших заживо; за распухших от голода детей; за пытаемых пленников; за всю эту гнусную, кровавую и никчемную суету.

Грейс Уиллисон тихонько запротестовала сквозь подступившие слезы:

– Виктор, как вы можете говорить такие вещи? Страдание – это еще не вся жизнь; не можете же вы всерьез верить, будто Господу все равно. И вы же едете с нами в Лурд!

– Ну разумеется, еду! Это единственный шанс хоть ненадолго вырваться из нашей постылой психушки строгого режима. Я люблю движение, люблю путешествовать, люблю видеть солнце над Пиренеями, наслаждаться игрой красок. Я даже получаю некоторое удовлетворение от нескрываемой коммерциализации этого предприятия, от зрелища тысяч таких же, как я, но еще тешащих себя какими-то иллюзиями.

– Это богохульство!

– В самом деле? Что ж, тогда мне это особенно нравится.

– Если бы вы только поговорили с отцом Бэддли, Виктор! – стояла на своем Грейс. – Уверена, он мог бы помочь вам. Или с Уилфредом. Правда, почему бы вам не поговорить с Уилфредом?

Виктор разразился пронзительным хохотом, в котором насмешка странным и пугающим образом смешалась с искренним весельем.

– Поговорить с Уилфредом! Боже праведный, я бы мог вам рассказать про нашего святого Уилфреда кое-что очень забавное. И в один прекрасный день, когда он разозлит меня, обязательно расскажу. Поговорить с Уилфредом!

Урсуле казалось, будто она еще слышит далекое эхо того надрывного хохота.



«Я бы мог рассказать вам про нашего Уилфреда кое-что забавное!» Да только он не рассказал – а теперь уж и не расскажет. Она подумала о смерти Виктора. Что за внезапный порыв заставил его свести счеты с судьбой именно тогда? Ну конечно же, это был внезапный порыв – обычно по средам Виктор не выезжал к морю, и Деннис не хотел его везти. Она ясно помнила сцену во дворике. Виктор, настойчивый, упрямый, пускающий в ход все средства, лишь бы добиться своего. Деннис, красный, надутый, как строптивое дитя, – он хоть и уступил, но продолжал дуться. И так они отправились вместе на ту роковую прогулку, и она никогда больше не видела Виктора. Что он думал, когда снял кресло с тормоза и заскользил навстречу гибели? Нет, наверняка это был внезапный порыв. Никто по доброй воле не выбрал бы такую жуткую смерть, когда вполне доступны средства помягче. А ведь средства есть – подчас Урсула ловила себя на мыслях о них, вспоминая про эти две недавние смерти – Виктора и отца Бэддли. Отец Бэддли, кроткий неудачник, ушел, будто его никогда и не было, его имя теперь почти не упоминалось. А вот горький, беспокойный дух Виктора задержался в Тойнтон-Грэйндж. Иногда, особенно в сумерках, Урсула боялась смотреть на соседей – вдруг она увидит тяжелую фигуру Виктора, кутающегося в теплый клетчатый плащ, с натянутой, заоченелой улыбкой на смуглом сардоническом лице. Внезапно, несмотря на теплое послеполуденное солнце, Урсула вздрогнула. И, сняв кресло с тормоза, повернулась и поехала к дому.

#### IV

Парадная дверь Тойнтон-Грэйндж была открыта, и Джулиус Корт провел гостя в просторный холл с высоким потолком, дубовыми панелями на стенах и мраморным полом в черно-белую клетку. В доме оказалось на удивление тепло – входящий словно прорывался сквозь незримую завесу горячего воздуха. А вот пахло как-то странно: не обычным для медицинских заведений запахом людских тел, еды, полировки для мебели, заглушаемой резкой вонью антисептиков, а как-то иначе, сладко и экзотично, точно здесь кто-то жег ароматические благовония. В холле царил полумрак, словно в церкви. Это впечатление усиливали два витража в стиле прерафаэлитов по обеим сторонам от двери. На левом изображалось изгнание из рая, на правом – жертвоприношение Исаака. Дэлглиш подивился эксцентричной фантазии, породившей изображение женоподобного ангела с копной золотых кудрей под увенчанным плюмажем шлемом. Или создавшей ангельский меч, разукрашенный ромбами рубинового, ярко-синего и оранжевого цветов. Этим оружием херувим не слишком

эффективно отгораживал двух преступников от яблоневых садов Эдема. Адам и Ева – розовые тела тактично, хотя и неправдоподобно обвиты лавром, на лицах выражение напускной одухотворенности и упрямого раскаяния. Справа тот же самый ангел таким Бэтменом завис над распростертым Исааком. За ними из чащи наблюдал чрезмерно кудрявый агнец, морда которого отражала вполне понятные в данных обстоятельствах опасения.

В холле стояло три кресла – нестандартные и грубые изделия из крашеного дерева с виниловыми сиденьями, ужасно уродливые сами по себе: одно необычно высокое, два других, напротив, крайне низкие. У дальней стены приютилось сложенное инвалидное кресло; в стенах на уровне пояса был вделан деревянный поручень. Справа, сквозь открытую дверь, виднелась не то контора, не то раздевалка. Дэлглиш разглядел складки висящего клетчатого плаща, доску с ключами и краешек массивного стола. Слева от двери расположился резной столик для писем и визиток с медным подносом и огромным пожарным колоколом.

Джулиус прошел через дверь в противоположном конце холла и оказался в центральном вестибюле, откуда поднималась тяжелая лестница. Добрую половину лестничных перил пришлось убрать, чтобы освободить место для металлической клетки большого современного лифта. Наконец посетители оказались перед третьей дверью. Джулиус театрально распахнул ее и объявил:

– Гость, прибывший по приглашению покойного. Адам Дэлглиш.

Все трое вошли в комнату. Дэлглиш, идущий посередине, вдруг почувствовал себя непривычно и как-то неуютно: точно под конвоем. После полумрака холла и центрального вестибюля в столовой было так светло, что командер зажмурился. Узкие стрельчатые окна пропускали не так уж много света, однако комнату заливало яркое, режущее глаз сияние от двух длинных флуоресцентных ламп, которые казались особенно неуместными под высоким сводчатым потолком. В глазах у Адама все расплылось, потом раздвоилось, и только потом он сумел разглядеть обитателей Тойнтон-Грэйндж, словно изобразивших вокруг длинного монастырского стола застывшую «живую картинку».

Похоже, появление нежданного гостя поразило всех до полного онемения. Четверо из присутствующих сидели в инвалидных креслах – три женщины и один мужчина. Еще две женщины явно принадлежали к числу персонала. Одна была одета как старшая медицинская сестра, разве что без обязательной

шапочки, символа этого положения, поэтому казалось, будто ей чего-то не хватает. Вторая, светловолосая молодая женщина, носила черные брюки и строгую белую блузу. Но даже в столь ортодоксальном костюме служительница умудрялась производить самое что ни на есть внушительное, даже слегка устрашающее впечатление. Трое здоровых мужчин были в темно-коричневых сутанах. После секундного замешательства человек, сидевший во главе стола, поднялся и с церемонной медлительностью направился навстречу вошедшим, простирая руки:

– Добро пожаловать в Тойнтон-Грэйндж, Адам Дэлглиш. Меня зовут Уилфред Энсти.

Первой мыслью Дэлглиша было: ну до чего же он смахивает на актера, который заезженно играет роль аскетичного епископа. Коричневое облачение так шло Уилфреду, что казалось невыносимым представить его в любой другой одежде. Он был высок и худ, а торчащие из-под спадающих рукавов смуглые запястья казались хрупкими и ломкими, как сухие ветки осенью. Коротко стриженные, седые, хотя и густые еще волосы повторяли очертания черепа. Длинное худое лицо Энсти было испещрено пятнышками, точно от неровно сошедшего летнего загара; два ярко-белых пятна на левом виске имели нездоровый вид. Возраст Уилфреда определить было трудно – должно быть, около пятидесяти. Кроткие вопрошающие глаза, словно привыкшие кротко сносить чужие страдания, выглядели молодо – с ярко-голубой радужкой и молочно-белыми белками. Улыбался Энсти чуть кривобокой, зато подчеркнута сладкой улыбкой, которую слегка портили неровные потемневшие зубы.

Дэлглиш подивился: и почему это филантропы так часто пренебрегают регулярными визитами к дантисту?

Адам протянул руку и почувствовал, как она попала в плен обеих ладоней Энсти. Ему потребовалось немалое усилие воли, чтобы не содрогнуться при соприкосновении с влажной липкой кожей.

– Я надеялся несколько дней погостить у отца Бэддли. Мы с ним старые друзья. Я и не знал, что он мертв.

– Мертв и кремирован. В прошлую среду его прах был похоронен на церковном дворе тойнтонской церкви Святого Михаила. Мы знали, что он хотел бы

упокоиться на этой освященной земле. Мы не давали объявления о его смерти в газетах, потому что не думали, что у преподобного есть друзья.

– Кроме нас.

Это прибавила кротко, но решительно одна из пациенток. Она была старше остальных, седая и вся какая-то угловатая, как деревянная кукла. Сидя в инвалидном кресле, женщина неотрывно и с искренним интересом разглядывала Дэлглиша.

– Ну разумеется, – согласился Уилфред Энсти. – Кроме нас. Полагаю, Грейс была отцу Майклу ближе всех – и именно она находилась с ним в тот вечер, когда он скончался.

– А по словам миссис Хьюсон, он умер один, – удивился Дэлглиш.

– К сожалению, да. И ведь именно так в конечном итоге умираем мы все. Надеюсь, вы выпьете с нами чаю? Джулиус, и вы с Мэгги, разумеется, тоже. Так вы сказали, что надеялись погостить у Майкла? В таком случае вы должны переночевать здесь. – Энсти повернулся к экономке: – Думаю, в комнате Виктора, Дот. Будьте добры после чая приготовить ее для нашего гостя.

– Весьма любезно с вашей стороны, – возразил Дэлглиш, – но, право же, я бы не хотел никого стеснять. А не могу ли я, если у вас нет возражений, провести несколько дней в коттедже отца Бэддли? Миссис Хьюсон сказала, будто он завещал мне свою библиотеку. Хотелось бы разобрать и упаковать книги, раз уж я здесь.

Показалось ли ему, что это предложение не слишком обрадовало хозяина имения? Однако Энсти колебался лишь несколько секунд.

– Ну разумеется, если вам так удобнее. Только сперва позвольте представить вас нашей семье.

Дэлглиш вежливо позволил Энсти провести маловразумительную церемонию официального представления и пожал вереницу протянутых рук – холодных, сухих, влажных, вялых или твердо пожимающих его ладонь. Грейс Уиллисон –

пожилая старая дева, этюд в серых тонах: серая кожа, седые волосы, серое платье, серые чулки, причем все какое-то тускловатое, а сама она походила на старомодную куклу, заброшенную за ненадобностью в пыльный чулан. Урсула Холлис, высокая прыщеватая девушка в длинной индийской хлопчатобумажной юбке, удостоила Адама робкой улыбкой и быстрым, неохотным рукопожатием. Левая ее рука неподвижно лежала на коленях, словно придавленная к ним тяжестью толстого обручального кольца. Нечто в ее внешности сразу показалось Дэлглишу странным, однако, уже отвернувшись, он понял, что именно: разные глаза – один голубой, а другой карий. Дженни Пеграм – самая молодая из пациентов, но, должно быть, старше, чем выглядит: бледное острое личико и кроткие лемуры глаза. Шея у нее была такая короткая, что казалось, будто девушка втянула ее в плечи, скрючившись в инвалидном кресле. Расчесанные на прямой пробор золотистые волосы волнистым покрывалом висели вокруг карликового тельца. Она словно сжалась от прикосновения гостя и, улыбнувшись слабой, болезненной улыбочкой, прошелестела «здравствуйте». Генри Каруардин: красивое властное лицо прорезано глубокими морщинами, крючковатый нос и длинный рот. Недуг скрючил ему шею так, что голова была склонена набок, как у надменной хищной птицы. Протянутую Дэлглишем руку он не удостоил вниманием, произнеся обычные слова приветствия с равнодушием на грани невежливости. Дороти Моксон, экономка: мрачная, крепко сбитая особа с угрюмыми глазами под черной челкой. Хелен Рейнер: огромные, чуть навывкате, глаза под тонкими, как виноградная кожица, веками; соблазнительная фигурка, которую не в силах скрыть даже свободная блуза. Она могла бы, подумал Дэлглиш, даже показаться красивой, если бы не дряблые, чуть обвисшие щеки. Медсестра обменялась с гостем твердым рукопожатием и бросила на него слегка угрожающий взгляд – точно знакомясь с новым пациентом, от которого ждала неприятностей. Доктор Эрик Хьюсон: светловолосый привлекательный молодой человек с по-мальчишечьи ранимым лицом и карими глазами в обрамлении потрясающе длинных ресниц. Деннис Лернер: тощее, вялое лицо, нервно помаргивающие глаза за толстыми стеклами очков в стальной оправе, рука влажная. Энсти, словно чувствуя, что присутствие Денниса надо специально объяснить, заметил, что Лернер – брат милосердия.

– С двумя оставшимися членами нашей небольшой семьи, Албертом Филби, рабочим, и моей сестрой Миллисентой Хэммит, вы, надеюсь, успеете познакомиться чуть позже. И разумеется, нельзя забывать о Джеффри.

При звуках своего имени кот, до того момента спавший на подоконнике, встал, увесисто шмякнулся на пол и, задрвав хвост, направился к столу.

– Его назвали в честь кота из стихотворения Кристофера Смарта, – пояснил Энсти. – Полагаю, вы его помните:

Ибо рассмотрим кота моего Джеффри.

Ибо он слуга Бога живого, служащий ему верно и неустанно.

Ибо он противостоит силам тьмы своей электрической шкуркой и сверкающими глазами.

Ибо он противостоит Дьяволу, сиречь смерти,  
своей живостью и проворством[1 - Перевод Г. Кружкова.].

Дэлглиш сказал, что да, он знает это стихотворение. А еще командер мог бы добавить, что ежели Энсти пожелал назначить кота на жреческую роль, то ошибся в выборе кандидата. Судя по виду, Джеффри, обычный полосатый котик с пушистым лисьим хвостом, посвятил жизнь не столько службе Создателю, сколько мирским радостям плоти. На Энсти кот бросил недовольный взгляд, исполненный муки и отвращения, после чего легко запрыгнул на колени Каруардина. Там, впрочем, котятка не получил теплого приема, но тем не менее замурлыкал, улегся и довольно зажмурился.

Джулиус Корт и Мэгги Хьюсон устроились на дальнем краю стола. Неожиданно Джулиус во всеуслышание объявил:

– Кстати, когда будете разговаривать с мистером Дэлглишем, поаккуратнее выбирайте слова. Все, что бы вы ни сказали, может быть использовано против вас. Он предпочел путешествовать инкогнито, однако на самом деле это командер Адам Дэлглиш из Нью-Скотленд-Ярда. Ловит убийц.

Чашка Генри Каруардина взволнованно задрезжала по блюдецку. Он попытался левой рукой придержать ее, но без особого успеха. Никто даже не посмотрел в его сторону. Дженни Пеграм ахнула, а потом самодовольно оглядела присутствующих, как будто сказала что-то очень умное. Хелен Рейнер резко спросила:

– Откуда вы знаете?

– Дорогая моя, я живу в этом мире и время от времени читаю газеты. В прошлом году был один шумный процесс, во время которого командер привлек к себе внимание общественности.

Корт повернулся к Дэлглишу:

– После ужина мы с Генри будем пить вино и слушать музыку. Если пожелаете, присоединяйтесь к нам. Кстати, можете прикатить Генри ко мне. Уверен, Уилфред вас простит.

Приглашение звучало не слишком-то учтиво – ведь оно касалось лишь двоих из всех присутствующих. Корт словно претендовал на то, чтобы целиком и полностью завладеть гостем практически без спросу хозяина. Впрочем, кажется, никто не обиделся. Должно быть, Генри с Джулиусом часто пили вместе, когда Корт приезжал в имение. В конце-то концов, пациенты вовсе не обязаны дружить с одними и теми же людьми, а друзья не обязаны приглашать сразу всех. Кроме того, Дэлглиша, по всей очевидности, позвали, чтобы он помог Каруардину. Адам коротко поблагодарил и занял место между Урсулой Холлис и Генри Каруардином.

Угощение было простым и незамысловатым, как в школе. На неровном, щербатом дубовом столе, не покрытом даже скатертью, стояли два больших чайника, которыми заведовала Дороти Моксон; две тарелки с толстыми ломтями ржаного хлеба, тонко-тонко намазанными чем-то, что весьма напоминало Дэлглишу маргарин; вазочка с медом; вазочка с «Мармайтом» и блюдо домашних булочек, из которых торчали закаменевшие ягодки черной смородины. Еще здесь была миска с яблоками, судя по виду – паданцами. Все пили из коричневых глиняных кружек. Хелен Рейнер вынула из вделанного под подоконник буфета еще три таких же кружки и блюдца для гостей.

Странное вышло чаепитие. Каруардин подвинул гостю тарелку с бутербродами, после чего полностью его игнорировал, да и с Урсулой Холлис спервоначалу беседа никак не налаживалась. Бледное напряженное личико девушки было постоянно обращено к Дэлглишу, два разных глаза молча ловили его взор. У командера возникло неуютное ощущение, будто Урсула чего-то ждет, отчаянно пытается пробудить в нем интерес, а быть может, даже дружеское расположение. Понять эту просьбу Адам не мог, а уж удовлетворить и подавно. Однако потом, по какой-то счастливой случайности, гость упомянул Лондон. Лицо молодой женщины тут же прояснилось, и она спросила, знает ли он

«Марилебон» и рынок на Белл-стрит. Дэлглиш оказался втянут в живое и страстное обсуждение уличных рынков Лондона. Урсула покраснелась, сделалась почти хорошенькой, и, как ни странно, этот разговор вроде бы принес ей некоторое облегчение.

Внезапно Дженни Пеграм перегнулась через стол и с гримаской напускного отвращения сказала:

– Хорошенькая же у вас работка: ловить убийц и отправлять их на виселицу. Ума не приложу, что вы в ней находите такого привлекательного...

– Мы не считаем ее привлекательной. Кроме того, в наши дни никого не вешают.

– Ну, тогда отправляют в пожизненное заключение. По-моему, это еще хуже. И готова держать пари, кое-кого из тех, кого вы поймали в молодости, повесили.

Дэлглиш распознал в ее глазах предвкушающий, почти сладострастный блеск. Это было ему не в новинку.

– Пятерых, – тихо ответил он. – Интересно, почему все обычно хотят послушать именно о них?

Энсти улыбнулся своей кроткой улыбкой и с видом человека, решившегося взглянуть на предмет беспристрастно, произнес:

– Дженни, дело ведь не только в наказании, верно? За этим кроется необходимость устрашить негодяев, подчеркнуть, что общество не приемлет насилия, кроме того – надежда перевоспитать и исправить преступников, ну и, разумеется, добиться, чтобы они не повторяли злодеяний.

Уилфред Энсти напомнил Дэлглишу одного особенно нелюбимого школьного учителя, который любил затевать откровенное обсуждение общественных проблем, но всегда с покровительственным видом носителя высшего разума. Он позволял высказывать неортодоксальные взгляды – однако лишь до известной степени и при условии, что в результате класс целиком и полностью убедится в верности и правильности его, учителя, взглядов. Теперь Дэлглиш не поддавался на старую уловку и не имел никакого желания подыгрывать. Простодушную



реплику Дженни («Ну, если их вешать, они уж точно ничего не повторят!») командер прервал словами:

– Я понимаю, что это крайне интересная и важная тема. И все же прошу простить, если лично меня она не привлекает. Я в отпуске – выздоравливаю и не хочу сейчас думать о работе.

– Вы болели? – Каруардин старательно и сосредоточенно, как неуверенный в своих силах ребенок, потянулся за медом. – Надеюсь, ваш визит сюда не вызван, пусть и подсознательно, личными мотивами? Вы не подыскиваете приют на будущее? Не страдаете от прогрессирующего неизлечимого заболевания?

Снова вмешался Энсти:

– Все мы страдаем от прогрессирующего неизлечимого заболевания. Мы называем его жизнью.

Каруардин улыбнулся, точно поздравлял сам себя с выигрышем в какой-то своей, неизвестной остальным игре. Дэлглиш, которому начинало казаться, будто он попал на Безумное Чаепитие, не мог понять: претендует ли высказывание Уилфреда на какую-то глубину мысли или же это сказано просто по глупости? Зато он был уверен в другом: Энсти не раз произносил эту фразу прежде. Наступила короткая неловкая пауза, а потом Уилфред сказал:

– Майкл не говорил нам, что ждет вас. – В его устах это прозвучало кротким упреком.

– Возможно, не получил мою открытку. Она должна была прийти утром в день его смерти. И я не нашел ее у него в бюро.

Энсти чистил яблоко и не отрывал глаз от вьющейся из пальцев полоски желтой кожицы.

– Его привезли из больницы на карете «скорой помощи». В то утро я никак не мог сам забрать Майкла. Насколько я понял, они останавливались у почтового ящика забрать письма – наверное, по его просьбе. Потом он отдал одно письмо мне, а одно – моей сестре, так что и вашу открытку должен был получить. Но я

совершенно точно не находил ничего подобного в бюро, когда рылся там в поисках завещания или каких-либо еще письменных инструкций, которые он мог оставить. Это было утром после его смерти. Хотя, конечно, я мог и пропустить ненароком...

- В таком случае она так и лежала бы там, - непринужденно заметил Дэлглиш. - Наверное, отец Бэддли ее выкинул. Жаль, что вам пришлось взламывать бюро.

- Взламывать? - Голос Энсти выражал лишь вежливое удивление.

- Замок был взломан.

- Да-да, верно. Сдается мне, Майкл потерял ключ и от крайней нужды пошел на столь крайние меры. Простите за невольный каламбур. Когда я стал искать, то обнаружил, что бюро открыто. Мне и в голову не пришло осмотреть замок. А это важно?

- Для мисс Уиллисон - да. Насколько я понимаю, бюро теперь принадлежит ей.

- Разумеется, сломанный замок делает его менее ценным. Однако вы и сами обнаружите, сколь мало мы в Тойнтон-Грэйндж придаем значения материальной собственности.

Энсти снова улыбнулся, словно прося прощения за подобное легкомыслие, и повернулся к Дороти Моксон. Мисс Уиллисон сидела, уставившись в тарелку, и не поднимала глаз.

- Наверное, глупо с моей стороны, - промолвил Дэлглиш, - но мне бы все же хотелось удостовериться в том, что отец Бэддли знал о моих намерениях. Я подумал, может, он засунул открытку в дневник, но на столе последней тетрадки не оказалось.

На этот раз Энсти посмотрел на командера. Голубые глаза встретились с темно-карими - невинные, вежливые, без тени тревоги.

- Да, я заметил. Он перестал вести дневник примерно в конце июня. Удивительно ведь не то, что бросил, а то, что Майкл вообще его вел. В конце

концов, всякому надоедает самовлюбленно записывать всякие мелочи, будто это невесть какие вечные ценности.

- И все же странно - после стольких лет вдруг взять и бросить посреди года...

- Он только что вернулся из больницы после серьезной болезни, и особых сомнений в прогнозе быть не могло. Зная, что смерть не за горами, Майкл вполне мог решить уничтожить дневники.

- Начиная с последней тетради?

- Уничтожать дневники - все равно что уничтожать память. Начинаешь с того куска, чью потерю легче пережить. Старые воспоминания самые цепкие. Вот он и сжег раньше всего последнюю тетрадь.

И снова Грейс Уиллисон кротко, но решительно поправила Энсти:

- Только не сжег, Уилфред. После возвращения из больницы отец Бэддли пользовался электрическим обогревателем. На каминной решетке стоит кувшин с букетом сухих трав.

Дэлглиш представил себе гостиную коттеджа «Надежда». Грейс и в самом деле была права. Он вспомнил старомодный каменный кувшинчик, ссохшийся пучок листьев и травы, что заполнял почти весь узкий камин, так и норовя просунуть пыльные, испачканные сажей стебельки меж прутьев решетки. Букет, похоже, не трогали с прошлого года.

Оживленный разговор, шедший на другом краю стола, замер, сменившись выжидательным молчанием. Так бывает, когда все присутствующие вдруг начинают подозревать, что сейчас скажут нечто интересное, нечто, что им не хотелось бы пропустить мимо ушей.

Мэгги Хьюсон сидела столь близко к Джулиусу Карту, что Дэлглиш только диву давался, как это ему вообще хватает места чашку ко рту поднести. Мэгги самым немилосердным образом флиртовала с Картом, хотя и трудно сказать почему - то ли он ей и в самом деле нравился, или же она стремилась позлить мужа. Когда Эрик Хьюсон поглядывал на жену, на его лице снова появлялось

виноватое выражение, как у пристыженного школьника. Корт же чувствовал себя непринужденно и распределял свое внимание меж всеми присутствующими дамами, за исключением Грейс. Теперь же Мэгги посмотрела ему прямо в глаза и резко спросила:

– В чем дело? Что она сказала?

Никто не ответил.

Неожиданное и необъяснимое замешательство все же прервал Джулиус:

– Кстати, вам вдвойне повезло с гостем. Таланты командера не ограничиваются поимкой убийц, он еще пишет стихи. Он – поэт Адам Дэлглиш.

Это заявление было встречено смущенно-поздравительным бормотанием, из которого ухо Дэлглиша выхватило реплику Дженни – «Очень мило!» – как самую неуместную. Уилфред поощрительно улыбнулся:

– Ну разумеется. Нам и впрямь повезло. И Адам Дэлглиш прибыл к нам в удачное время. В четверг состоится очередное ежемесячное собрание. Мы можем надеяться, что наш гость порадует нас, прочитав вслух что-нибудь из своих сочинений?

На этот вопрос существовало множество самых разных ответов, однако в присутствующей компании убогих все они казались либо слишком злобными, либо неуместными.

– Прошу прощения, но я не взял в поездку своих книг, – только и произнес Дэлглиш.

Энсти улыбнулся:

– Вот уж не проблема. У Генри есть два ваших последних тома. Уверен, он с охотой одолжит их ради такого случая.

Каруардин отозвался, не поднимая глаз от тарелки:

– Учитывая полное отсутствие здесь какого бы то ни было понятия о приватности, я не сомневаюсь, что вы можете процитировать весь каталог моей библиотеки. Но поскольку до сих пор вы ни малейшего интереса к трудам Дэлглиша не проявляли, я не собираюсь одалживать мои книги для того, чтобы вы могли заставить гостя выделяться перед вами, точно дрессированная обезьянка.

Уилфред слегка покраснел и уткнулся в тарелку.

Больше сказать на эту тему было нечего. Через несколько секунд разговор за столом возобновился – безвредный и бессодержательный. Ни отца Бэддли, ни его дневник более никто не упоминал.

V

Когда после чая Дэлглиш выразил желание поговорить с мисс Уиллисон наедине, Энсти это ничуть не встревожило. Возможно, просьба показалась ему всего лишь благочестивой данью уважения к памяти мертвого. Он ответил, что в обязанности Грейс входит по вечерам кормить несушек и собирать яйца. Вероятно, в этом случае Адам ей поможет?

Каждое из двух больших колес инвалидного кресла было соединено со вторым, внутренним, хромым колесом так, чтобы больной мог самостоятельно продвигаться вперед. Мисс Уиллисон медленно поехала по асфальтовой дорожке. От каждого рывка ее хрупкое тело дергалось как марионетка. Дэлглиш заметил, что левая рука у нее деформирована и гораздо слабее правой, из-за чего кресло вихлялось и двигалось неровно. Идя с левой стороны от кресла, он словно невзначай положил руку на спинку и тихонько подталкивал его вперед, надеясь, что выбрал правильную тактику. А вдруг подобное проявление такта оскорбит мисс Уиллисон, словно непрощеная жалость? Ему показалось, что она ощутила его неловкость и решила не усугублять ее благодарностью, выраженной хотя бы молчаливой улыбкой.

Идя по дорожке рядом с Уиллисон, Дэлглиш с необычайной отчетливостью осознавал ее присутствие на чисто физическом уровне – как будто она была молода и прекрасна, а он по уши влюблен. Смотрел, как ритмично дергаются под

серым хлопчатобумажным платьем острые плечи, как проступают лиловые шнуры вен на почти прозрачной левой руке, такой маленькой и тонкой по сравнению с правой. Да и сжимавшая колесо правая рука, компенсирующая слабость левой, тоже казалась уродливой – слишком сильной и мускулистой, почти как мужская. Ноги Грейс в сморщенных вязаных чулках были тонкими как спички, а ступни в простеньких сандалиях выглядели слишком большими для столь неадекватной опоры. Они покоились на подножке кресла, точно приклеенные к металлу. Серые, усыпанные хлопьями перхоти волосы были забраны наверх и заплетены в одну косу, держащуюся на голове при помощи не слишком-то чистого белого гребня. Шея сзади была какой-то грязной – то ли из-за выцветающего загара, то ли из-за того, что Грейс плохо умылась. Глядя вниз, Дэлглиш видел, как морщины у нее на лбу становятся еще глубже из-за усилий, которые приходится прилагать, чтобы двигать кресло, как помаргивают глаза за стеклами очков в тонкой оправе.

Курятник представлял собой ветхую клетку, огороженную провисающей проволокой и покосившимися столбиками. Сразу было видно, что строился он в расчете на инвалидов. Вход состоял из двух дверей, одна за другой, так что мисс Уиллисон могла запереть за собой первую, прежде чем открывать вторую, ведущую в основное помещение. Вдоль стен мимо коробок для несущек шла ровная асфальтовая дорожка шириной с инвалидное кресло. В маленькой «прихожей» на уровне талии была прибита неоструганная доска, на которой размещались тазик с уже готовым кормом, пластиковая канистра с водой и длинная деревянная ложка – видимо, для сбора яиц. Мисс Уиллисон не без труда переместила все это себе на колени и наклонилась вперед, чтобы открыть внутреннюю дверь. Куры, сгрудившиеся в дальнем углу, точно нервные девы, разом подняли круглые злобные головки, завохтели и бросились к ней, словно толпа пернатых фанатиков, решившихся на массовое самоубийство. Мисс Уиллисон чуть отъехала назад и принялась горстями швырять корм с видом неофитки, умиротворяющей фурий. Куры возбужденно клевали и глотали. Доскребая остатки корма из тазика, мисс Уиллисон проговорила:

– Жаль, что я не могу их полюбить – как и они меня. Тогда обеим сторонам было бы приятнее. Я почему-то считала, что животные привыкают к руке, которая их кормит, но, похоже, к несущкам это не относится. Да и с какой, собственно, стати? Мы их используем от и до. Сперва забираем у них яйца, а потом, когда они прекращают нестись, сворачиваем бедняжкам шею и отправляем в кастрюлю.

– Надеюсь, вам не приходилось никому ничего сворачивать.

– О нет, эта неприятная задача возложена на Алберта Филби, хотя не думаю, что он находит ее такой уж неприятной. А я лишь исправно съедаю свою порцию вареной курятины.

– Вполне разделяю ваши чувства, – произнес Дэлглиш. – Я рос в доме сельского священника в Норфолке, и моя мать держала кур. Она-то их любила, да и они ее тоже, а вот мы с отцом считали возню с курицами сплошной доуккой. Однако свежие яйца очень любили.

– Знаете, стыдно сказать, и все же я не вижу решительно никакой разницы между этими яйцами и покупными. Уилфред решил, что мы будем питаться только натуральными продуктами. Он презирает большие промышленные фермы, и, конечно, прав. Он бы вообще предпочел ввести в Тойнтон-Грэйндж вегетарианство, но это усложнило бы подбор продуктов для стола. Джулиус тут провел кое-какие расчеты и показал Уилфреду, что эти яйца обходятся нам в два с половиной раза дороже магазинных, даже если не учитывать мой труд. Вышло довольно-таки обескураживающе.

– Значит, Джулиус Корт ведет у вас бухгалтерию? – поинтересовался Дэлглиш.

– О нет! Он не занимается настоящими счетами вроде годового отчета. На это у Уилфреда есть профессиональный бухгалтер. Джулиус просто ловко обращается с цифрами, и, я знаю, Уилфред часто с ним советуется. Впрочем, обычно это не слишком ободряющие советы – мы балансируем на волоске. Наследство отца Бэддли стало настоящим даром небес. Джулиус вообще очень добрый. В прошлом году фургон, на котором мы ехали из порта по возвращении из Лурда, попал в аварию. Нас всех изрядно потрянуло. Кресла стояли в задней части фургона, и два из них сломались. Сюда послали паническую телефонограмму, хотя на самом деле все оказалось не так уж страшно, как подумал Уилфред в первый момент. Джулиус же сразу поехал в больницу, куда нас отвезли на осмотр, нанял другой фургон и позаботился абсолютно обо всем. А потом купил нам специально оборудованный автобус, так что теперь мы полностью независимы. Деннис с Уилфредом вдвоем могут везти нас до самого Лурда. Джулиус, разумеется, с нами никогда не ездит, зато устраивает настоящий праздник, когда мы возвращаемся из паломничества.

Подобная бескорыстная доброта до странности противоречила тому впечатлению, что успело сложиться у Дэлглиша о Кorte даже за столь краткое знакомство. Заинтригованный, он осторожно спросил:

– Прошу прощения, если мои слова покажутся грубыми, а что Джулиус Корт получает от всего этого, ну, из интереса к Тойнтону?

– Знаете, иногда я сама себя об этом спрашиваю. И этот вопрос не кажется невежливым, когда подумаешь о том, сколько всего Тойнтон-Грэйндж от него получает. Он приезжает из Лондона, принося дыхание большого мира. Он нас всех веселит... Однако вы-то хотите поговорить о вашем друге. Давайте соберем яйца и найдем какое-нибудь тихое место.

«О вашем друге». Эти слова, произнесенные тихим голосом, устыдили Дэлглиша. Они с мисс Уиллисон вместе наполнили поилки и собрали яйца. Уиллисон подгребала их деревянной ложкой с ловкостью, порожденной долгой практикой. Правда, удалось найти только восемь штук. Вся процедура, которую здоровый человек мог выполнить за десять минут, оказалась утомительной, долгой и малопродуктивной. Дэлглиш не видел никакого достоинства в работе во имя работы и гадал про себя: что его спутница на самом деле думает по поводу занятия, выдуманного лишь ради того, чтобы подарить ей иллюзию хоть какой-то значимости?

Они вместе вернулись в маленький дворик за домом. Там сидел один Генри Каруардин – книга на коленях, глаза устремлены в сторону невидимого отсюда моря. Мисс Уиллисон бросила на него быстрый обеспокоенный взгляд и словно бы собралась что-то сказать. Однако ничего не произнесла до тех пор, пока они не устроились ярдах в тридцати от безмолвной фигуры: Дэлглиш – на краешке одной из деревянных скамей, а мисс Уиллисон – в своем кресле рядом. Затем она произнесла:

– Никак не привыкну к тому, что живу так близко от моря и не вижу его. Иногда море так отчетливо слышно – вот как сейчас. Мы чуть ли не окружены им, порой даже чувствуем его запах, однако с тем же успехом могли бы обитать за сотни миль от него.

Она говорила тоскливо и вместе с тем без жалобы. Несколько секунд оба молчали. Теперь Дэлглиш и в самом деле отчетливо различал в ветре шум моря,



протяжные вздохи прибоя на каменистом пляже. У обитателей Тойнтон-Грэйндж этот вечный рокот наверняка пробуждал томление по дразняще-близкому, но недоступному бескрайнему синему горизонту, мчащимся по ветру облакам, белым крыльям, пронизывающим мятущийся воздух. Он вполне понимал, как стремление увидеть море могло перерасти в навязчивую идею. И сказал совершенно сознательно:

– Мистер Холройд устраивал так, чтобы его везли туда, откуда видно море.

Было очень важно заметить реакцию Грейс, и Адам мгновенно понял: для нее это замечание прозвучало хуже, чем случайная бестактность. Она была глубоко потрясена и шокирована. По лицу женщины густой некрасивой волной разлился румянец, быстро сменившийся мертвенной бледностью. На миг Дэлглиш почти пожалел о своих словах. Однако сожаление ушло также быстро, как и появилось. Вот он возвращается, сардонически подумал Дэлглиш, этот профессиональный зуд, стремление докопаться до фактов. А их редко удается добыть просто так, ничем не расплачиваясь, и сколь бы важными или ничего не значащими ни оказывались они в конечном счете, платить обычно приходилось не ему. Мисс Уиллисон снова заговорила, но так тихо, что командеру пришлось нагнуться, чтобы разобрать слова.

– Виктору было особенно необходимо выбираться отсюда. Мы это понимали.

– А ведь, должно быть, тяжело толкать даже такое легкое кресло по неровной земле, а потом еще вверх к обрыву.

– У него было собственное кресло, больше и крепче. Кроме того, Виктора вовсе не требовалось толкать вверх. Там есть тропинка, которая, насколько я понимаю, ведет по эту сторону утеса к узкой расщелине. По ней можно выбраться на обрыв. Впрочем, все равно Деннису Лернеру было очень тяжело возить кресло. Дорога занимала около получаса. Но вы же хотели поговорить об отце Бэддли...

– Если вам не слишком трудно. Судя по всему, вы последняя, кто видел его живым. Наверное, он умер почти сразу же, как вы ушли, потому что на следующее утро, когда миссис Хьюсон нашла преподобного, он был еще в облачении. А ведь, полагаю, отец Бэддли снял бы его, приняв исповедь.

Настала короткая пауза – мисс Уиллисон, должно быть, что-то обдумывала.

– Он снял его, как обычно, после того, как дал мне отпущение грехов. Сложил и повесил на ручку кресла.

И снова Дэлглиша охватило ощущение, которое он и не думал испытать вновь, много долгих тоскливых дней томясь в больнице: будоражащий холодок в крови, первое осознание того, что наконец-то сказано нечто по-настоящему важное. И что хотя противник еще не показался на глаза и даже следов его еще не различить, становится ясно: враг есть, он где-то неподалеку. Дэлглиш попытался не выказывать этого внезапного и неуместного сейчас напряжения, однако оно было столь же рефлекторно и непреодолимо, как легкий укол страха.

– Так это значит, – произнес он, – что отец Бэддли снова надел облачение после вашего ухода. Зачем?

Или кто-то еще надел на него епитрахиль... Ладно, эту мысль лучше оставить невысказанной, эта версия может подождать.

Мисс Уиллисон так же тихо промолвила:

– Полагаю, к нему пришел новый кающийся – самое очевидное объяснение.

– А он не надевал облачение для вечерней молитвы?

Дэлглиш попытался припомнить, как поступал в подобных случаях его отец в те редкие дни, когда не служил службу в церкви. Увы, в памяти всплыла лишь детская картинка: они с отцом, загнанные непогодой в хижину на Каирнгорме. Адам наполовину скучающим, наполовину замороженным взглядом наблюдает, как вьется и вихрится снег за окном, а отец – в походных штанах, анорাকে и вязаной шапке – тихонько читает маленький черный молитвенник. В тот раз отец точно обошелся без епитрахили.

– О нет! – ответила мисс Уиллисон. – Он носил его, только отправляя святые таинства. Кроме того, отец Бэддли уже отслужил вечерню. Он как раз заканчивал, когда я появилась. Я присоединилась к нему в последней молитве.

– Так если кто-то приходил после вас, значит, вы не последняя, кто видел его живым. Вы кому-нибудь об этом говорили, разговаривали о смерти преподобного?

– А надо было? Не думаю. Если тот, кто приходил, ничего не говорит, не мое дело строить догадки. И разумеется, если бы кому-нибудь, кроме вас, пришла мысль о важности этого облачения, догадок и домыслов избежать бы не удалось. Только никто ничего не заметил. Или ничего не сказал. Мы и так слишком много сплетничаем тут, в Тойнтон-Грэйндж, мистер Дэлглиш. Наверное, это неизбежно, однако же не... не слишком морально. Если в тот вечер на исповедь приходил кто-то, кроме меня, это никого не касается – только того человека и отца Бэддли.

– Но на следующее утро отец Бэддли был все в том же облачении, – заметил Дэлглиш. – А это позволяет предположить, что он умер, пока его гость еще не ушел. В таком случае стоило бы позвать врача, сколь бы личным ни был визит посетителя.

– Возможно, гость не сомневался, что отец Бэддли мертв и ему уже ничем не поможешь. Тогда он вполне мог оставить его мирно сидеть в кресле, а сам предпочел бы ускользнуть. Не думаю, что отец Бэддли назвал бы это грехом, и не думаю, что вы назовете это преступлением. Да, на первый взгляд это чудовищно. Хотя кто знает, как это было? Вероятно, это может свидетельствовать о неуважении к приличиям – и не более того.

Или же, подумал Дэлглиш, это может свидетельствовать о том, что неурочный гость был врачом или медсестрой. Не на это ли намекает мисс Уиллисон? Первой реакцией при виде упавшего без чувств человека должно быть желание позвать на помощь. Или на худой конец попытка убедиться, что тот и правда мертв. Если, конечно, и без того не знаешь причины, по которой отец Бэддли должен умереть. Такая мрачная возможность, судя по всему, в голову мисс Уиллисон не приходила. Да и с какой бы, собственно, стати? Отец Бэддли был стар, тяжело болен, вполне можно было ожидать, что преподобный умрет, – и он умер. Зачем усматривать какую-то подоплеку в том, что естественно и неизбежно? Дэлглиш промямлил, что важно определить время смерти, и выслушал тихий непоколебимый ответ:

– Полагаю, в вашей работе точное время смерти всегда очень важно и вы привыкли придавать этому факту большое значение. Но так ли это необходимо в

обычной жизни? Важно знать, пребывал ли он в мире с Господом на момент смерти.

Дэлглишу явилось мгновенное и нечестивое видение о том, как его сержант пытается выяснить и надлежащим образом отразить в официальном полицейском протоколе столь насущную и необходимую информацию о жертве преступления. Упомянутое мисс Уиллисон различие между работой следователя и обычной жизнью стало весьма уместным напоминанием о том, как люди смотрят на его работу. Адам прямо-таки предвкушал, как будет рассказывать об этом комиссару. А потом вдруг вспомнил, что в предстоящем официальном и неизбежно не слишком веселом разговоре, который ознаменует конец его профессиональной карьеры, им с комиссаром будет не до приятной болтовни.

К своему прискорбию, командер распознал в мисс Уиллисон тот тип необычайно честного свидетеля, с которым всегда трудно иметь дело. Парадоксально, однако с этой старомодной правдивостью и чувствительной совестью справиться куда сложнее, чем с увертками, недомолвками и откровенным враньем – нормальной частью любого расследования. Ему хотелось спросить ее о том, кто из Тойнтон-Грэйндж мог бы навестить отца Бэддли, чтобы исповедаться. И тем не менее Дэлглиш понимал: подобный вопрос лишь нарушит то хрупкое доверие, что мисс Уиллисон испытывала к нему, а ответа он в любом случае не получит. Впрочем, этот гость должен быть не из инвалидов – человек в коляске просто не мог бы прийти и уйти тайком, если, конечно, у него не было сообщника, который привез бы его сюда или своими силами, или на машине. Однако такую возможность Дэлглиш пока что склонен был не принимать в расчет: скорее всего на какой-нибудь стадии путешествия их все же заметили бы.

Стараясь, чтобы беседа не совсем уж походила на полицейский допрос, командер поинтересовался:

– Так что преподобный делал, когда вы его оставили?

– Сидел в кресле перед камином. Я не позволила ему встать, чтобы проводить меня. Уилфред отвез меня в коттедж в маленьком фургончике. Он сказал, что пока навестит свою сестру в коттедже «Вера» и через полчаса будет ждать на улице, если я не постучу в стенку раньше.

– Значит, из одного коттеджа слышно, что происходит в другом? Мне только сейчас пришло в голову, что если отец Бэддли после вашего ухода почувствовал себя плохо, он мог бы постучать в стенку миссис Хэммит.

– Она говорит, что он не стучал. Хотя она могла и не услышать, потому что у нее громко работал телевизор. Вообще-то коттеджи сложены очень качественно, но иногда через общую стенку какие-то звуки все же доносятся. Особенно когда говорят на повышенных тонах.

– Вы имеете в виду, что слышали, как мистер Энсти разговаривает с сестрой?

Похоже, мисс Уиллисон уже пожалела, что сказала лишнего.

– Время от времени, – быстро проговорила она. – Помнится, мне еще пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться. Я еще подумала: говорили бы уж потише, а потом мне стало стыдно, что я слишком легко отвлекаюсь. Со стороны Уилфреда было так мило отвезти меня в коттедж. В обычных обстоятельствах отец Бэддли, разумеется, сам бы пришел ко мне, и мы бы могли уединиться в комнатке, которую у нас зовут «тихой» – она рядом с чуланом у входа. Но ведь преподобный в то утро только выписался из больницы, так что ему не стоило выходить. Я бы отложила визит до тех пор, пока он слегка не окрепнет, однако он написал мне из больницы, чтобы я приходила в назначенное время. Он знал, как это для меня важно.

– А его можно было вообще оставлять одного? Мне почему-то кажется, что нет.

– Эрик и Дот, то есть сестра Моксон, хотели, чтобы он приехал из больницы в большой дом и провел там хотя бы первую ночь. Да вот преподобный настоял, чтобы его отвезли сразу в коттедж. Тогда Уилфред предложил, чтобы кто-нибудь переночевал у него в запасной спальне – на случай если ему ночью понадобится помощь. Но отец Бэддли и на это не согласился. Стоял на своем как камень – что должен остаться на ночь один. Знаете, он ведь умел быть ужасно властным. Потом-то я думала, что Уилфред, верно, корит себя за то, что не проявил больше твердости. Только что он мог сделать? Не тащить же отца Бэддли сюда силком.

Верно, всем заинтересованным лицам было бы проще, если бы отец Бэддли согласился провести хотя бы первую ночь после больницы в Тойнтон-Грэйндж. И

это так нетипично для него – столь решительно противиться разумному предложению. Уж не ждал ли он еще одного посетителя? Быть может, преподобный очень хотел повидаться еще с кем-то – причем обязательно наедине? И написал он этому «кому-то», назначив точное время встречи, совсем как мисс Уиллисон? И если так, этот неизвестный – каковы бы ни были причины его визита – вполне мог прийти сюда пешком. Дэлглиш спросил Грейс: а не разговаривал ли отец Бэддли с Уилфредом перед тем, как она покинула коттедж?

– Нет. Через тридцать минут после того, как я вошла к отцу Бэддли, Уилфред постучал в стену кочергой, а через несколько минут посигналил с улицы. Я подкатила кресло к двери, как раз когда Уилфред ее открывал. Отец Бэддли сидел на прежнем месте. Уилфред пожелал ему спокойной ночи, хотя, кажется, преподобный не ответил. Судя по всему, Уилфред очень торопился поскорее вернуться домой. Миллисента тоже вышла на крыльцо и помогла закатить мое кресло в фургон.

Выходит, ни Уилфред, ни его сестра не говорили с Майклом в тот вечер и даже толком его не видели. Глянув на мускулистую правую руку мисс Уиллисон, Дэлглиш пару мгновений поиграл с мыслью о том, что священник был уже мертв, когда гостья уехала. Однако, даже помимо психологического неправдоподобия, эта версия никуда не годилась. Мисс Уиллисон не могла полагаться на то, что Уилфред не заглянет в коттедж. И коли на то пошло, даже странно, что он этого не сделал. Ведь Майкл только утром вернулся из больницы. Почему же не зайти и не справиться, как он себя чувствует, не провести с ним хоть пару минут? Весьма интересно, отчего это Уилфред Энсти так спешил уехать и почему никто не признался, что видел отца Бэддли после семи сорока пяти.

Дэлглиш задал новый вопрос:

– А какое освещение было в коттедже, когда вы уходили?

Если его собеседница удивилась, то не подала виду.

– Горела только маленькая настольная лампа на бюро. Я еще поразились, как он различает слова вечерни. Хотя, конечно, преподобный ведь и так знал все молитвы.

– А утром она была уже выключена?

– О да. Мэгги сказала, что в коттедже было темно.

– Как-то странно, на мой взгляд, – заметил Дэлглиш, – что никто не заглянул туда вечером, чтобы узнать, как там отец Бэддли, или помочь ему улечься.

– Эрик Хьюсон думал, что Миллисента зайдет, – быстро произнесла мисс Уиллисон, – а у Миллисенты почему-то сложилось впечатление, что Эрик и Хелен – ну, сестра Рейнер – согласились зайти сами. На следующий день они все себя винули. Правда, как говорит Эрик, с медицинской точки зрения это было бессмысленно. Отец Бэддли скончался тихо и мирно вскоре после моего ухода.

С минуту они сидели молча. Дэлглиш гадал: подходящий ли сейчас момент, чтобы спрашивать мисс Уиллисон об анонимках? Она так ужаснулась его замечанию о Викторе Холройде – не хотелось бы пугать и смущать ее еще сильнее. Но вопрос крайне важен. Покосившись на худое лицо, на котором застыло выражение упрямой безмятежности, он начал:

– Оказавшись в коттедже отца Бэддли, я ознакомился с содержимым его бюро, просто на всякий случай – вдруг там окажется неотправленное письмо ко мне. И под какими-то старыми рецептами нашел другую записку, анонимную, крайне неприятного свойства. И хочу знать: рассказывал ли он кому-нибудь об этом и не получал ли еще кто-нибудь в Тойнтон-Грэйндж таких писем?

Вопрос подействовал на мисс Уиллисон хуже, чем Дэлглиш опасался. На миг она словно утратила дар речи. Адам терпеливо ждал, пока наконец не услышал ее голос. Справившись с собой, она ответила:

– Я получила одно такое письмо за четыре дня до смерти Виктора. Оно было совершенно... непристойным. Я разорвала его на мелкие кусочки и выкинула в туалет.

– Туда ему и дорога, – с напускной бодростью заверил Дэлглиш. – Однако мне, как полицейскому, всегда жаль, когда уничтожают улики.

– Улики?

– Видите ли, рассылка подобных писем может считаться правонарушением. Они же могут причинить людям много горя. Наверное, в таких случаях лучше всего сообщать в полицию, чтобы там выявили виновника.

– В полицию! О нет! Как можно? Это не те проблемы, с которыми нам может помочь полиция.

– Мы не такие уж бесчувственные чурбаны, какими нас иногда считают. Вовсе необязательно, чтобы виновник понес строгое наказание. Важно другое – остановить его, а полиция справится с этой задачей лучше всех. Полицейские могут послать анонимку в лабораторию к опытным криминалистам на исследование почерка.

– Так ведь им понадобится документ. А я не показала бы это письмо никому на свете.

Значит, все было настолько плохо. Дэлглиш осторожно спросил:

– А вы не могли бы сказать мне, каким оно было? Написано от руки или на пишущей машинке? И на какой бумаге?

– Письмо было напечатано на бумаге Тойнтон-Грэйндж, через два интервала, на нашем старом «Имперiale». У нас здесь почти все умеют печатать – так мы стараемся хоть немного заработать на жизнь. С пунктуацией и грамматикой все было в порядке, без ошибок. Больше вроде бы никаких особых примет. Не знаю, кто его напечатал, хотя, думаю, автор был достаточно опытен в сексуальном смысле.

Выходит, несмотря на расстройство, она успела все хорошенько обдумать.

– Доступ к машинке имеет весьма ограниченное число людей, – заметил Адам. – Полиция без труда разобралась бы в этом деле.

В тихом голосе мисс Уиллисон звучало упорство.

– К нам уже приезжала полиция – после гибели Виктора. О, полицейские вели себя очень тактично и деликатно.



Только все это было просто ужасно. И для Уилфреда, и для нас. Не думаю, чтобы мы вынесли подобное во второй раз. Уж Уилфред точно не вынес бы. Как бы ни были милы полицейские, им пришлось бы задавать всякие вопросы, пока они не сумеют решить проблему, правда? Нельзя же вызывать их и при этом рассчитывать, что человеческие чувства будут им важнее работы.

Что верно, то верно, тут не поспоришь. Дэлглиш спросил: приняла ли мисс Уиллисон какие-то меры помимо того, что выбросила анонимку в туалет?

– Я рассказала Дороти Моксон. Мне показалось, так будет разумнее всего. Не могла же я разговаривать об этом с мужчиной. Дороти сказала, что мне не следовало уничтожать письмо, потому что без доказательств ничего не сделаешь. Правда, затем она согласилась, что пока лучше никому ничего не говорить. Уилфред тогда очень переживал из-за денег, и ей не хотелось взваливать на него очередную проблему. Кроме того, мне кажется, она подозревала, кто это написал. И если она не ошиблась, то больше таких писем не будет.

Значит, Дороти Моксон считала или делала вид, что считает, будто виновником был Виктор Холройд. И если автору хватит здравого смысла и силы воли остановиться, это окажется удобной теорией, которую никто не сумеет опровергнуть ввиду полного отсутствия улик.

Дэлглиш спросил, получал ли еще кто-нибудь анонимные письма. Насколько мисс Уиллисон знала – никто. Во всяком случае, к Дороти Моксон больше никто не обращался. Вопрос снова расстроил мисс Уиллисон, и Дэлглиш понял, что она считала анонимку единичной злобной выходкой, направленной непосредственно против нее одной. Мысль о том, что отец Бэддли тоже получил грязное послание, потрясла ее почти как первое письмо. Слишком хорошо зная из собственного опыта, какого сорта это послание должно быть, Дэлглиш тихо произнес:

– Я бы не стал чересчур убиваться из-за письма отцу Бэддли. Не думаю, что оно его очень огорчило. На самом деле оно было довольно-таки безобидным. Просто злобствующая записка, что, мол, от него было не слишком много толку и ему следует уступить коттедж кому-нибудь более полезному. У отца Бэддли было слишком много смирения и здравого смысла, чтобы обижаться на такую ерунду. Сдается мне, он и письмо-то сохранил лишь затем, чтобы проконсультироваться со мной – на случай если окажется не единственной жертвой. Здравомыслящие

люди просто выбрасывают такие писульки в сортир. Впрочем, подчас и у них благоразумие отказывает. Кстати, если вы вдруг получите еще анонимку, вы ведь покажете ее мне, хорошо?

Мисс Уиллисон еле заметно качнула головой и промолчала. Однако Дэлглишу показалось, будто на душе у нее стало чуть легче. Приподняв иссохшую левую руку, она на мгновение накрыла ею ладонь Адама и легонько пожалала. Ощущение было не из приятных – рука у нее была сухой и холодной, а кости словно бы болтались под кожей. Однако сам жест был исполнен одновременно смирения и достоинства.

Темнело. На дворе начало холодать. Генри Каруардин уже ушел в дом. Мисс Уиллисон пора было тоже идти. Быстро подумав, что еще надо сказать, Дэлглиш повернулся к собеседнице:

– Это все не важно, и, ради бога, не думайте, что я занимаюсь сейчас своими служебными делами. Хотя если вы еще что-нибудь вспомните о том, как отец Бэддли провел последнюю неделю перед больницей, я бы очень хотел это услышать. Не спрашивайте больше никого. Просто расскажите мне, чем он занимался, по вашим воспоминаниям, когда приходил в Тойнтон-Грэйндж, где еще мог проводить время. Мне бы хотелось мысленно воссоздать последние десять дней его жизни.

– В среду перед болезнью он ездил в Уорхэм, сказал, ему надо кое-что купить и с кем-то повидаться по делу. Я запомнила, потому что во вторник он сказал, что на следующее утро не придет в Грэйндж, как обычно.

Так вот когда, подумал Дэлглиш, он купил запас еды, уверенный, что его письмо не останется без ответа. Значит, у отца Бэддли были основания для этой уверенности.

Еще с минуту оба сидели молча. Дэлглиш гадал, что мисс Уиллисон подумала о столь странной просьбе. Вроде бы и не удивилась. Должно быть, ей показалось вполне естественным желание восстановить последние десять дней жизни старого друга. Однако внезапно на Адама накатили опасения. Может, следовало подчеркнуть, что это сугубо конфиденциальная просьба? Нет, явно нет. Он ведь и так просил ее не говорить никому другому. Настаивать дальше – означало бы возбудить подозрения. Да и чего опасаться? На что он вообще может опереться?

Взломанный ящик бюро, пропавший дневник, снова надетое, точно для исповеди, облачение. Никаких серьезных улик. Усилием воли Дэлглиш подавил дурное предчувствие, сильное, точно предостережение свыше. Это самым неприятным образом напомнило ему о тех долгих больничных ночах, когда он в беспокойном полусне боролся с иррациональными страхами и непонятными тревогами. Вот и сейчас охватившее его чувство было совершенно алогичным – смехотворная уверенность в том, что простая, почти небрежная и ничего не значащая просьба равносильна смертному приговору.

Глава третья. Незнакомец – гость ночной

I

Перед ужином Энсти предложил, чтобы Деннис Лернер показал Дэлглишу дом. Уилфред извинился за то, что не провожает гостя сам, сославшись на необходимость написать срочное письмо. Почту, сказал он, доставляют каждое утро в начале десятого, помещая в ящик у ворот поместья. Если Адам хочет отправить какие-нибудь письма, ему надо просто оставить их на столике в холле, а Алберт Филби отвезет их к ящику вместе с остальной тойнтонской корреспонденцией. Дэлглиш поблагодарил хозяина. Ему и правда надо было отправить одно срочное письмо – Биллу Мориарти в Ярд, но он собирался отослать его сам днем из Уорхэма. Что-то не хотелось оставлять такой текст на виду у всех любопытствующих.

Предложение осмотреть дом по сути равнялось приказу. Хелен Рейнер помогала пациентам умыться перед ужином, а Дот Моксон исчезла с Энсти, так что водили гостя только Деннис Лернер и Джулиус Корт. Дэлглиш от души желал, чтобы экскурсия поскорее завершилась, а еще лучше – чтобы от нее можно было вообще отказаться, никого не обидев. Он с нелегким сердцем вспоминал, как в детстве вместе с отцом был в гериатрической клинике под Рождество: вежливость, с которой пациенты принимали очередное вторжение в выставленную напоказ личную жизнь; душераздирающую готовность, с которой персонал демонстрировал маленькие победы и достижения. Теперь же, как и тогда, командер оказался болезненно уязвим к малейшим следам отвращения

в своем голосе и – ему казалось, что это еще оскорбительнее – ноткам покровительственной сердечности. Деннис Лернер вроде бы ни того, ни другого не замечал, да и Джулиус беззаботно вышагивал рядом, с живейшим любопытством оглядываясь по сторонам, словно и ему здесь все было в новинку. Дэлглиш гадал: за кем же Корт приглядывает – за Лернером или за самим гостем?

По мере того как они переходили из комнаты в комнату, Лернер помаленьку утратил первоначальную угрюмую стеснительность и сделался самоуверенным, почти громогласным. Было что-то милое и трогательное в его наивной гордости достижениями Энсти. Хозяин усадьбы явно пускал деньги в ход не без воображения. Само здание – с высокими просторными комнатами, холодным мраморным полом, мрачными дубовыми панелями на стенах и сводчатыми готическими окнами – было прямо-таки удручающе непригодно для инвалидов. За исключением столовой и гостиной в глубине первого этажа, где стоял телевизор, Энсти приспособил дом для собственных нужд и потребностей персонала. Зато с задней части здания было пристроено двухэтажное каменное крыло с десятью отдельными спальнями для пациентов на первом этаже и медицинским кабинетом и запасными спальнями – на втором. Это крыло соединялось со старой конюшней, которая подходила к нему под прямым углом, так что получался огражденный внутренний дворик для инвалидных колясок. Конюшню переделали под гараж, обычную мастерскую и мастерскую для пациентов, которые могли работать по дереву и заниматься моделированием. Здесь же происходила расфасовка крема для рук и талька, производившихся приютом на продажу. Стол, за которым этим занимались, был отгорожен прозрачной пластиковой ширмой – по всей видимости, символизовавшей стремление к лабораторной чистоте. Дэлглиш различил очертания белых халатов, висящих за ширмой.

– Виктор Холройд был учителем химии, – пояснил Деннис Лернер. – Он-то и снабдил нас рецептом крема для рук и талька. В состав крема входит только ланолин, миндальное масло и глицерин, но он очень эффективен и, судя по всему, нравится покупателям. Идет нарасхват. А этот вот угол у нас отведен под лепку.

Дэлглиш уже практически истощил запас одобрительных возгласов. Однако сейчас он и в самом деле оказался весьма впечатлен. Посередине рабочего верстака на низкой деревянной подставке стояла глиняная голова Уилфреда Энсти. Длинная жилистая шея по-черепашьи торчала из складок капюшона,

голова тянулась вперед, чуть-чуть склоняясь вправо. Почти пародия – и тем не менее скульптура просто поражала силой и мастерством. Дэлглиш диву давался, как это скульптор сумел передать всю приторность и упрямство неповторимой улыбочки Уилфреда; отразить сочувствие, но в то же время сгладить его до самообмана; запечатлеть смирение, рядящееся в монашеский наряд, и вместе с тем с удивительной точностью ухватить основное, всеподавляющее впечатление – могущество зла. Какие-то свертки и пласты глины, беспорядочно разбросанные по верстаку, только подчеркивали мастерство и технику этого законченного творения.

– Голову вылепил Генри, – сообщил Лернер. – Только, по-моему, рот не очень удался. Уилфред вроде бы ничего не говорит, однако остальным кажется, что вышло не слишком похоже.

Джулиус склонил голову набок и поджал губы, изображая придирчивого критика.

– О, не скажите, не скажите. А как на ваш взгляд, Дэлглиш?

– По-моему, потрясающе. А Каруардин много занимался лепкой до того, как приехал сюда?

Ответил ему Деннис Лернер:

– Кажется, вообще не занимался. До болезни он находился на государственной службе. Вылепил эту вот голову месяца два назад – а ведь Уилфред ему даже не позировал. Неплохо для первой попытки, правда?

– А вот меня интересует, – встрял Джулиус, – сделал ли он это нарочно – тогда он слишком талантлив, чтобы прозябать здесь, – или же его пальцы просто повиновались подсознанию? Если так, можно строить любопытные гипотезы относительно природы творчества. И еще более любопытные – относительно подсознания Генри.

– По-моему, у него просто так вышло, – бесхитростно заметил Деннис Лернер, глядя на голову с почтением, однако чуть недоуменно – он явно не видел, чему тут дивиться или что нужно объяснять.

Вскоре маленькая процессия вошла в одну из комнаток в самом конце крыла. Здесь было устроено нечто вроде делового кабинета – стояли два письменных стола, все в пятнах чернил, их, вероятно, списали из какого-нибудь правительственного офиса. За одним Грейс Уиллисон печатала имена и адреса на перфорированной ленте из самоклеящихся ярлычков. Дэлглиш не без удивления обнаружил, что Генри Каруардин работает на второй машинке – наверное, составляет личное письмо. Обе пишущие машинки были совсем старыми. Генри сидел за «Импералом», Грейс – за «Ремингтоном». Остановившись рядом с ней, Дэлглиш взглянул на список рассылки – похоже, бюллетень распространялся не только по всей округе: помимо адресов местных приходских священников и заведений для хронических больных, там было несколько лондонских адресов, два в Соединенных Штатах, а один – даже где-то под Марселем. Смущенная интересом командера, Грейс неловко дернула локтем – и блокнот, с которого она перепечатывала, полетел на пол. Однако Дэлглиш видел достаточно: стоящая чуть особняком маленькая «е», нечеткое «о», слабое, почти неразличимое заглавное «В». Без сомнения, именно на этой машинке и было отпечатано письмо к отцу Бэддли. Дэлглиш поднял блокнот и протянул мисс Уиллисон, однако она, не оглядываясь, покачала головой:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Перевод Г. Кружкова.

----

Купити: [https://tellnovel.com/dzheyms\\_fillis-doroti/chernaya-bashnya](https://tellnovel.com/dzheyms_fillis-doroti/chernaya-bashnya)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)